

Л12184

# СОВРЕМЕННЫЙ МІРЪ

---

---

№ 2—3.

Г. ПЛЕХАНОВЪ. ПЛОХАЯ ДАЛЕК-  
ТИКА.

Ж. ЛОНГЗ. ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНА-  
РОДНЫХЪ ОТНОШЕНІЙ.

Д. СТРАХОВЪ. БЕЛЬГИЯ ПОДЪ ИГОМЪ  
ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ.

Ж. Б. СЕВЕРАКЪ. ВОЛЯ ФРАНЦУЗ-  
СКОЙ ДЕМОКРАТИИ.

В. ФРИЧЕ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭПОСЪ  
О ГАРИБАЛЬДИ.

С. ШТРАЙХЪ. КЪ ИСТОРИИ РУССКО-  
ПОЛЬСКИХЪ ОТНОШЕНІЙ.

ЛЕОН. ДОБРОНРАВОВЪ. РЕВОЛЮЦІЯ.

НИК. ЮРДАНСКИЙ. НА ПУТИ КЪ РЕ-  
СПУБЛИКЪ.

ИВ. БОРИЧЕВСКИЙ. ПО ПОВОДУ, ИСТО-  
РИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕН-  
НОЙ МЫСЛИ ПЛЕХАНОВА.

І. ГЕЛЛЕРЪ. ЗА ДВА МЪСЯЦА. ФАК-  
ТЫ И ДОКУМЕНТЫ.

З. ШТИЛЬГЕБАУЕРЪ. ВЪ АДУ  
(INFERNO). РОМАНЪ.

М. КИСИНЪ. ДВѢ ЖЕНЩИНЫ.

Е. ВЛАДИМИРОВА. МАЛЕНЬКІЕ.

А. ФЕДОРОВЪ, В. НАДЕЛЬ. СТИ-  
ХОТВОРЕНІЯ.

1917.

# СОВРЕМЕННЫЙ МІРЪ

---

## СОДЕРЖАНІЕ № 2-3

1. ДВѢ ЖЕНЩИНЫ. Разсказъ *М. Кисина* . . . . . 5
2. ВОСТОКЪ. Стихотвореніе *А. Федорова* . . . . . 39
3. МАЛЕНЬКІЕ. Разсказъ. *Е. Владиміровой* . . . . . 41
4. ВЪ АДУ (Inferno). Романъ изъ эпохи міровой войны. *Эдварда Штильгебауера*. Авторизованный переводъ В. Денишь и Н. Колачевской . . . . . 59
5. РАЗБУЖЕННЫЕ ГЛАЗА. Стихотвореніе *Виктора Наделя* . 184

6. ПО ПОВОДУ „ИСТОРИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ“ ПЛЕХАНОВА. <i>Ив. Боричевского</i> . . . . .	185
7. ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХЪ ОТНОШЕНІЙ. <i>Жана Лонгэ</i> переводъ съ рукописи Р. Марковичъ . . . . .	215
8. ВОЛЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ДЕМОКРАТИИ. Письмо изъ Парижа <i>Ж. Б. Северакъ</i> . . . . .	229
9. ПЛОХАЯ ДІАЛЕКТИКА. Письмо изъ Италіи. <i>Г. Плеханова</i> . . . . .	240
10. ЗА ДВА МѢСЯЦА. Вопросъ о мирѣ и безпощадная подводная война. Революція и война <i>Г. Геллера</i> . . . . .	240
11. ФАКТЫ И ДОКУМЕНТЫ. <i>Г. Г.</i> . . . . .	265
Л. Джорджъ о мирныхъ предложеніяхъ Германіи. Германскія условія мира. Французскіе социалисты о мирѣ. Перемены въ австрійскомъ ка- бинетѣ. Гермено-турецкіе отношенія. Круппъ о гос. дарственномъ социа- лизмѣ. Пангерманисты и канцлеръ. Германская пресса о подводной войнѣ. Мобилизація женскаго труда. Рождество въ Берлинѣ. Первая рѣчь Галаатъ-Паши. Выстрѣлы въ венгерскомъ парламентѣ. Библиогра- фія войны.	
12. РЕВОЛЮЦІЯ. Записки. <i>Леонида Добронравова</i> . . . . .	273
13. БЕЛЬГИЯ ПОДЪ ИГОМЪ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ. <i>Д. Страхова</i> . . . . .	314
14. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭПОСЪ О ГАРИБАЛЬДИ. <i>В. Фриче</i> . . . . .	353
15. КЪ ИСТОРИИ РУССКО-ПОЛЬСКИХЪ ОТНОШЕНІЙ. Польскій языкъ въ школахъ юго-западнаго края. <i>С. Штрайла</i> . . . . .	363
16. ОФФИЦІАЛЬНЫЕ АКТЫ. . . . .	378
Отреченіе Николая Романова. Образованіе Временнаго Правительства. Программа Временнаго Правительства. Заявленіе Петроградскаго Со- вѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.	
17. ПОЛИТИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ. . . . .	382
I. На пути къ Республикѣ. <i>Ник. Горданскаго.</i> II. Наша тактика. <i>Г. Плеханова.</i>	
18. КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ . . . . .	394
«Творчество». Альманахи, вып. I.—Дѣтскіе Альманахи «Творчество», вып. I и II.—Вяч. Шишковъ. Сибирскій сказъ.—Эльснеръ-Коранскій. «Вѣсъ Ликующій». Романъ.—«Гюлистанъ», альманахъ II.—Иванъ Но- виковъ. Между двухъ зорь. Романъ.—Персидскіе лирики X—XV вв.— Б. Ютановъ. «Доходный домъ» и др. рассказы.—Рюрикъ Ивневъ. Несчаст- ный ангель.—К. Бальмонтъ. Калидаса. Драма.—И. Б. Михайловскій. Архи- тектурные ордера.—В. Флайшгансъ. Янь Гуссъ.—О. Ф. Вальдгауеръ. Плеагоръ Регійскій.—О. Прохаско. Нѣсколько мыслей о религіозномъ воспитаніи.—З. К. Столица. Выработка характера. С. А. Ананьинъ Интересъ по ученію совр. психологіи и педагогики. С. Н. Прокоповичъ. Война и народное хозяйство.	
19. НОВЫЯ КНИГИ . . . . .	411
20. ОБЪЯВЛЕНІЯ . . . . .	415

## По поводу „Исторіи русской общественной мысли“ Плеханова.

Methodus nihil aliud est, nisi cognitio reflexiva, aut idea ideale.

Spinoza.

Die Idee unserer Zeit ist die Idee des vierten Standes.

Lassalle.

«Общественное сознание опредѣляется общественнымъ бытіемъ». Это положеніе вѣзалось въ «сознание» всѣхъ сторонниковъ ученія Маркса настолько прочно, что ему грозитъ большая опасность. Какъ неоднократно отмѣчали теоретики марксизма, тотъ, кто видитъ въ этомъ положеніи начало и конецъ всякой премудрости, можетъ низвести основной принципъ ученія Маркса до простой формулы и шаблона<sup>1)</sup>. Мы всѣ знаемъ, что о надо дѣлать изслѣдователю-марксисту. Весь вопросъ заключается въ томъ, какъ это надо дѣлать. Каковы тѣ руководящія идеи научнаго метода, которыя предлагаетъ ученіе Маркса? Чтобы оцѣнить надлежащимъ образомъ постановку этого вопроса въ методологіи марксизма, мы сопоставимъ теоретическія требованія ученія Маркса съ ихъ практическимъ примѣненіемъ въ новомъ изслѣдованіи Плеханова, посвященномъ «исторіи русской общественной мысли».

### I.

Приступая къ выясненію тѣхъ внутреннихъ пружинокъ, которыя опредѣляютъ развитіе «общественнаго сознанія», мы прежде всего должны избѣгать тѣхъ отвлеченныхъ опредѣленій, о которыхъ когда-то Гегель говорилъ, что они превращаютъ наше «разумѣніе» въ «двойное недоразумѣніе». Какъ показываетъ Плехановъ, въ подобнымъ расудочнымъ опредѣленіямъ постоянно прибѣгали выдающіеся изслѣдователи нашего общественнаго бытія. Одни (Павловъ-Сильванскій) односторонне подчеркивали только сходныя черты экономическаго быта древней Руси и средневѣковой Европы;

<sup>1)</sup> Ср., напр., Kautsky Vorwort zur 2 Aufl. d. «Klassengegensätze» и полемику Плеханова съ Eleutherpulos'омъ въ «Основныхъ вопросахъ марксизма».

въ итогѣ они неизбѣжно приходили къ полному отрицанію всякаго своеобразія русскаго историческаго развитія. Другіе, сосредоточивая вниманіе преимущественно на особенностяхъ нашего политическаго быта, пытались, наоборотъ, установить нѣкоторыя коренныя его отличія отъ западно европейскаго. Такова точка зрѣнія Ключевскаго. Ссылаясь на частыя въ исторіи Запада завоеванія, онъ утверждалъ, что тамъ «политическій моментъ» шель всегда впереди экономическаго и вызывалъ несвойственныя Россіи явленія: развитіе привилегій и обостреніе классовой борьбы. Наконецъ, третьи, желая избѣжать всякой односторонности, стремились принять во вниманіе «всѣ причины». Такъ, Соловьевъ приписываетъ огромное значеніе географической средѣ: господство на русской равнинѣ «д-рева» надъ «камнемъ» составило ея важное отличіе отъ Запада и оказало непосредственное вліяніе на общественное развитіе. Всѣ эти точки зрѣнія одинаково односторонни. Мнѣніе Павлова Сильванскаго нуждается въ значительной оговоркѣ: русская дѣйствительность удѣльнаго времени во многомъ отклоняется отъ чистаго типа развитого западнаго феодализма. Не правъ и Ключевскій: Венеція XIV-аго в., классическая страна привилегій, не знала никакаго «завоеванія». Ключевскій забываетъ, что политика и экономія — не противостоящія другъ другу отвлеченныя опредѣленія, а живая дѣйствительность: политика опредѣляется экономіей, оказывая въ то же время на нее обратное вліяніе. Наконецъ, ошибочно и мнѣніе Соловьева; западно-европейскіе города были сначала деревянными и стали каменными лишь по мѣрѣ роста общественныхъ отношеній, хотя географическая среда все время оставалась неизмѣнной. Соловьевъ упускаетъ изъ виду, что географическая среда не составляетъ какого то особаго «фактора» общественнаго развитія: она оказываетъ не прямое, а лишь косвенное вліяніе на общественное развитіе — черезъ экономическія отношенія.

Такимъ образомъ, наши наиболѣе выдающіеся изслѣдователи совершаютъ ту ошибку, на которую давно уже обращали вниманіе мыслители-діалектики. Уже Спиноза выяснилъ, что человѣчскій разумъ склоненъ превращать такія родовыя понятія, какъ разумъ и воля, въ какія-то особыя сущности. Доказавъ, что нѣтъ никакихъ особыхъ «душевныхъ способностей» и что содержаніе чело-вѣческой души исчерпывается отдѣльными представленіями и хотѣніями, Спиноза рѣшительно изгналъ эти отвлеченныя сущности изъ психологіи и теоріи познанія — вмѣстѣ со свободой воли и безсмертіемъ души. Историческій матеріализмъ выполнилъ такую же критическую работу въ другой области — въ «общественныхъ наукахъ». Вмѣстѣ съ Гегелемъ, возобновителемъ спинозизма въ новой философіи, ученіе Маркса рѣшительно выступило противъ «метафизическаго» метода, который огрызаетъ части дѣйствительнаго міра отъ ихъ живого, вѣчно становящагося единства и превращаетъ ихъ въ неподвижные, отвлеченные принципы, «способности» и «факторы». Теорія Маркса доказала, что въ исторіи мы имѣемъ дѣло съ созданіями, слѣдствіями и обнаруженіями чело-вѣческой дѣятельности, вѣчно мѣняющимися, но всегда остающимися въ неразрывной связи съ единымъ процессомъ развитія общественнаго чело-вѣка. Историческій матеріализмъ изгналъ ученіе о «факторахъ» — эгогъ послѣдній остатокъ Платоновыхъ идей —

изъ его послѣдняго убѣжища—изъ исторіи <sup>1)</sup>. Мы только что убѣдились, каково значеніе этого факта. По многимъ причинамъ, вопросъ о «пути развитія» нигдѣ не игралъ такой большой роли, какъ въ Россіи. Матеріалистическій методъ помогъ Плеханову сразу ориентироваться въ хаосѣ исключаящихъ другъ друга сужденій о «своеобразіи» нашего историческаго развитія, выбрать наиболѣе типичныя изъ нихъ и показать ихъ ошибочность. Но тотъ же самый методъ, какъ это мы сейчасъ увидимъ, помогъ Плеханову вскрыть то объективное содержаніе, которое легло въ основу этихъ одностороннихъ сужденій—и такимъ образомъ (обнаружить ихъ относительную правоту <sup>2)</sup>).

## II.

«Въ исторіи, какъ и въ природѣ, мы прежде всего должны искать того, что является наиболѣе общимъ, базисомъ и основаніемъ изслѣдуемаго предмета. Затѣмъ мы должны переходить къ менѣе общему». Это положеніе, выдвинутое впервые Спинозой въ «Богословско-политическомъ трактатѣ», съ тѣхъ поръ стало главнымъ требованіемъ научнаго историческаго метода. Въ полномъ согласіи со Спинозой, Марксъ подчеркиваетъ, что такія отвлеченныя опредѣленія, какъ «экономія», «политика», не могутъ служить и сходной точкой изслѣдованія; они вмѣщаютъ въ себя слишкомъ текучее и многообразное содержаніе и должны быть результатомъ изслѣдованія <sup>3)</sup>. Желая найти основную пружину историческаго развитія, мы должны исходить изъ наиболѣе общихъ, простѣйшихъ элементовъ. Однако, открыть такіе элементы не удалось ни Спинозѣ, ни болѣе позднимъ представителямъ эпохи «просвѣщенія» (Гельвецію и Руссо): эта задача выпала на долю историческаго матеріализма. «Простѣйшими категоріями» общественнаго развитія являются, согласно ученію Маркса, производительныя силы. Вотъ почему Плехановъ поступаетъ совершенно правильно, когда, подвергнувъ критикѣ своихъ предшественниковъ, онъ обращается къ анализу обстановки, въ которой происходило развитіе производительныхъ силъ Россіи.

Уже Соловьевъ отмѣтилъ два важныхъ момента, сыгравшихъ

<sup>1)</sup> Ученіе Спинозы объ отвлеченныхъ разсудочныхъ опредѣленіяхъ развито въ «Этикѣ» (р. II, prop. XL Sch. и prop. XLIX Sch.) и, къ сожалѣнію, до сихъ поръ еще не оценено марксизмомъ. Между тѣмъ, оно было усвоено французскими матеріалистами (напр., Гельвеціемъ, de l'Esprit, disc. I, ch. IV) и развито Гегелемъ (Encycl. § 214), а отъ него перешло къ Марксу. Къ сожалѣнію, главная методологическая работа Маркса («Einleitung zur. Kr. d. pol. Oekonomie») только недавно опубликована Каутскимъ и до сихъ поръ остается въ предѣлахъ теоретической досягаемости для большинства марксистскихъ авторовъ. Ею не могъ воспользоваться и критикъ теоріи факторовъ, Лабриола, въ своихъ «Опытахъ» (Essais, p. 153).

<sup>2)</sup> Въ «Гол. Мин.» (1916, № 1) г. Кизеветтеръ замѣчаетъ о критикѣ Плеханова, что она носитъ «болѣе словесный, нежели реальный» характеръ. Это замѣчаніе носить совершенно «словесный» характеръ и показываетъ, что почтенный изслѣдователь весьма неадекватно ориентируется въ вопросахъ научной методологии.

<sup>3)</sup> Marx. Einleitung etc. S. XXXV ff.; ср. В. de Spinoza. Tr. Th.—Pol., pp. 175 sqq.

рѣшительную роль въ нашей исторіи: однообразіе естественныхъ условій русской равнины и сосѣдство со степными кочевниками. По справедливому замѣчанію Соловьева, кочевники были «варварами», т. е. стояли на болѣе низкой ступени экономическаго развитія. Однако, нашему выдающемуся историку не удалось правильно оцѣнить значеніе этого сосѣдства; подобно Карамзину, Соловьевъ склоненъ былъ преуменьшать значеніе фактовъ, не имѣвшихъ непосредственнаго вліянія на политическія отношенія. Поэтому кочевники были для него только варварами, которые «только» опустошали болѣе культурную Русь, не касаясь ея внутренняго быта. Какъ же объяснить фактъ разложенія Киевской Руси подъ напоромъ кочевниковъ, которые стояли на болѣе низкой ступени развитія, чѣмъ русскіе земледѣльцы? Чтобы подогнать этотъ фактъ подъ обычную схему, одинокъ изъ изслѣдователей-матеріалистовъ (Келтуяла) пытался доказать, что Киевская Русь была не столько земледѣльческимъ, сколько охотничье-торговымъ государствомъ; кочевники-скотоводы нанесли ей ударъ именно потому, что стояли на болѣе высокой ступени экономическаго развитія. Плехановъ опять-таки возвышается надъ односторонностью обоихъ взглядовъ. Опровергнувъ гипотезу охотничье-торговаго государства, Плехановъ вскрываетъ и несостоятельность вызвавшихъ ее мотивовъ. Раздѣленіе общественнаго труда, свидѣтельствуя объ экономическомъ ростѣ даннаго племени, въ то же время можетъ вызвать относительное ослабленіе его военной мощи. Истина лежитъ посрединѣ между обоими взглядами. Съ одной стороны, сосѣди Киевской Руси стояли на болѣе низкой ступени развитія, чѣмъ ея «земледѣльцы»; съ другой стороны, именно это сосѣдство съ варварами замедляло экономическое развитіе южной Руси. Сопоставляя Киевскую Русь съ Галицкой, болѣе удаленной отъ степи, Плехановъ подчеркиваетъ, что сосѣдство съ варварами имѣло два важныхъ послѣдствія: выселеніе земледѣльческаго населенія на сѣверо-востокъ и ростъ власти князя, какъ «военнаго сторожа Русской земли». Все это мѣшало возникновенію въ Киевской Руси вліятельнаго землевладѣльческаго класса и опредѣленныхъ нормъ политической жизни. Такимъ образомъ уже въ Киевской Руси обнаружались тѣ особенности нашего историческаго процесса, которыя нашли себѣ дальнѣйшее развитіе въ сѣверо-восточной Руси.

Вопросъ о типѣ развитія сѣверо-восточной Руси — несомнѣнно труднѣйшій вопросъ русской исторической науки. Московская Русь — родина тѣхъ непримиримыхъ внутреннихъ противорѣчій, которыя до сихъ поръ еще составляютъ неустранимое свойство нашего общественнаго бытія. Каковы движущія силы этого развитія?

Чтобы провѣрить утвержденіе сторонниковъ самобытности русскаго общественнаго развитія и ея противниковъ, Плехановъ прибѣгаетъ къ сравнительному методу, сопоставляя Московскую Русь съ западными странами (Литовское государство, Польша, Франція) и восточными деспотіями (Египеть, Халдея, Китай). Это сопоставленіе обнаруживаетъ нѣкоторые существенныя отличія въ ходѣ развитія Московской Руси и Западной Европы. Развитіе производительныхъ силъ Московской Руси шло гораздо болѣе медленнымъ темпомъ и приводило къ другимъ социальнымъ послѣдствіямъ, чѣмъ на Западѣ. Во-первыхъ, «Исторія Московской Руси была исторіей страны, колонизирующей при усло-

ниях натурального хозяйства». Подвижность населенія явилась серьезнымъ препятствіемъ къ развитію раздѣленія труда, углубленію экономическихъ противорѣчій и образованію вліятельныхъ общественныхъ классовъ: крупныхъ землевладѣльцевъ и оппозиціонно настроеннаго городского класса. Во-вторыхъ, развитіе общественныхъ отношеній Московской Руси совершалось при крайне неблагоприятной международной обстановкѣ: подѣ постояннымъ напоромъ западныхъ и восточныхъ сосѣдей. Оба эти условія содѣйствовали чрезвычайному усиленію центральной власти и помогли ей ограничить право крестьянскаго перехода, а затѣмъ и закрѣпить земледѣльческое населеніе—какъ въ интересахъ обороны, такъ и въ интересахъ крупныхъ землевладѣльцевъ. Наконецъ, интересы обороны потребовали закрѣпощенія и другихъ классовъ—«средняго» и «высшаго»—на службу государству; этотъ процессъ былъ значительно облегченъ ихъ экономической неразвитостью. Въ итогѣ общественное развитіе Московской Руси значительно отклонилось отъ западно-европейскаго пути и приблизилось къ строю восточныхъ деспотій. Такая постановка вопроса даетъ Плеханову возможность отбросить шаблонныя схемы и оцѣнить должнымъ образомъ тѣ одностороннія, но относительно правомѣрныя обобщенія, которыя были сдѣланы «историками-идеалистами». Проверивъ эти обобщенія съ помощью того матеріала, который легъ въ ихъ основу, Плехановъ обнаруживаетъ рядъ моментовъ, существенно важныхъ для развитія русской общественной мысли. Вотъ главнѣйшіе изъ нихъ:

Во-первыхъ, всестороннее крѣпостничество Московскаго государства оттолкнуло отъ него высшіе классы единоплеменной Литовской Руси. Послѣ присоединенія къ Москвѣ, ополченная часть юго-западной Руси не желала принимать никакого участія въ русскихъ дѣлахъ—и движеніе оппозиціонныхъ слоевъ русскаго общества было предоставлено собственнымъ силамъ. Такимъ образомъ, отъ присоединенія этихъ культурныхъ мѣстностей выигралъ только абсолютизмъ.

Во-вторыхъ, самый поворотъ къ Западу вызванъ былъ не внутренней логикой нашего экономическаго развитія (какъ это думаетъ Покровский): его ближайшей причиной было международное положеніе Московскаго государства, т. е. военно-финансовая необходимость (какъ правильно полагали Соловьевъ и Ключевскій). Вотъ почему европеизація Петровской Руси имѣла узко-классовый, исключительно дворянскій обликъ. «Соціальное положеніе благороднаго сословія,—справедливо подчеркиваетъ Плехановъ,—измѣнялось въ сторону Запада; между тѣмъ соціальное положеніе «подлыхъ людей» продолжало измѣняться въ сторону прямо противоположную—въ сторону Востока». Отсюда тотъ разрывъ народа съ передовыми представителями высшаго класса, который дѣлалъ ихъ оппозиціонную часть «лишними людьми» и сталъ сильнѣйшимъ тормозомъ въ борьбѣ за политическое раскрѣпощеніе страны.

Въ-третьихъ, само движеніе низшихъ классовъ получило у насъ своеобразныя черты. Если на Западѣ недовольные элементы скоплялись въ городахъ, образуя здѣсь сплоченную оппозицію, то у насъ они первоначально удалялись въ степь. На Западѣ они становились главнымъ орудіемъ прогресса, а у насъ казачество.

вопреки установившейся традиции, было, по тонкому замѣчанію Плеханова, «чѣмъ-то въ родѣ клапана, предохранявшаго старый порядокъ отъ взрыва». Съ уничтоженіемъ казачества роль такого клапана стала играть своеобразная идейная aberrация, укоренившаяся въ сознаніи русскаго крестьянства, благодаря его привычкѣ къ утвердившемуся въ Московскомъ государствѣ всеобщему закрѣпощенію. Чѣмъ дальше шло раскрытіе высшаго класса подъ влияніемъ Петровской реформы; чѣмъ сильнѣе становилась борьба крестьянъ съ помѣщиками, тѣмъ упорнѣе возлагали крестьяне свои надежды на государственную власть, ожидая «воли» и для себя или призыва къ «черному передѣлу». Такимъ образомъ, «нашъ монархическій строй былъ проченъ совсѣмъ не отсутствіемъ у насъ борьбы классовъ, какъ это утверждали Погодинъ и славянофилы, а, наоборотъ, ея наличностью». Это — «одна изъ замѣчательнѣйшихъ особенностей» нашего общественнаго развитія.

Въ-четвертыхъ, благодаря тремъ предыдущимъ особенностямъ, общественное движеніе приняло своеобразный характеръ даже въ выѣзженной европеизованной Россіи. Реформа 1861 года получила азиатскій отпечатокъ: она сохранила прежнюю систему гражданскаго безправія и старыя формы крестьянскаго землевладѣнія — передѣлы полей въ сельскихъ общинахъ. Хотя развитие капитализма и вызвало ростъ пролетаріата, однако, въ общественномъ движеніи продолжали играть огромную роль аграрныя традиціи восточной деспотіи. Взрывъ 1905—1906 г.г. былъ сдѣланъ двумя противоположными силами: революционнымъ пролетаріатомъ и консервативнымъ крестьянствомъ, которое добивалось «чернаго передѣла» согласно старымъ преданіямъ аграрной политики русскаго государства. «Движеніе русской крестьянской Азіи на короткое время совпало съ движеніемъ русской рабочей Европы» — но только на короткое время.

Въ-пятыхъ, благодаря особенностямъ нашего общественнаго развитія, даже болѣе отсталыя страны Востока оказались въ болѣе благоприятной обстановкѣ для прогресса, чѣмъ Россія (напр., Китай). Плехановъ объясняетъ это слѣдующимъ кореннымъ противорѣчіемъ нашего общественнаго бытія: «русское полицейское государство было достаточно европеизовано для того, чтобы пользоваться въ борьбѣ съ новаторами почти всѣми завоеваніями европейской техники, между тѣмъ какъ наши новаторы только съ недавняго времени стали опираться на народную массу, европеизованную только въ лицѣ своей пролетарской части. Россія платится за то, что она слишкомъ европеизована сравнительно съ Азіей и недостаточно европеизована сравнительно съ Европой».

Мы отмѣтили выше, какъ и почему избранный Плехановымъ методъ изслѣдованія позволилъ ему вскрыть односторонность наиболѣе авторитетныхъ сужденій объ особенностяхъ развитія русскаго государства. Теперь мы убѣдились, что, несмотря на эту односторонность, сужденія Соловьева и Ключевскаго имѣютъ мало общаго съ произвольными «идеалистическими» толкованіями, насилующими историческую дѣйствительность: «путь» Россіи, дѣйствительно, отклоняется отъ пути Запада. Но Соловьевъ и Ключевскій не могли дать объясненія нашему «своеобразію»

Оба они стояли на точкѣ зрѣнія теоріи факторовъ и брали исходной точкой своихъ теоретическихъ разсужденій такія сложныя и многозначныя опредѣленія, какъ «политическій моментъ», «условія быта»—не отдавая себѣ надлежащаго отчета въ ихъ содержаніи. Наоборотъ, Плехановъ, въ полномъ согласіи съ методомъ историческаго матеріализма, исходитъ изъ «простѣйшихъ» элементовъ общественнаго развитія и отъ нихъ восходитъ къ болѣе сложнымъ. Этотъ методъ позволилъ ему установить, что въ исторіи Россіи дѣйствовалъ тотъ же основной законъ, что и въ исторіи Запада—законъ развитія производительныхъ силъ. Но тотъ же методъ помогъ ему доказать, что дѣйствіе этого закона у насъ и на Западѣ обнаруживаетъ весьма существенныя различія <sup>1)</sup>.

### III.

Въ первой главѣ мы подвели итоги той критикѣ, которой Плехановъ подвергъ методъ своихъ предшественниковъ и отмѣтили, какова общая методологическая посылка изслѣдователей, незнакомыхъ съ методомъ Маркса. Во второй главѣ мы изложили итоги собственнаго изслѣдованія Плеханова и указали на тотъ основной методологическій приемъ, которымъ онъ пользуется, какъ матеріалистъ, въ отличіе отъ своихъ предшественниковъ. Мы, конечно, не ставили своей цѣлью дать конспектъ чрезвычайно богатаго содержаніемъ и, къ сожалѣнію, недостаточно систематическаго «Очерка развитія русскихъ общественныхъ отношеній», который составляетъ значительную часть перваго тома изслѣдованія Плеханова. Мы выдѣлили и соединили воедино тѣ моменты, которые позволяютъ намъ поставить слѣдующій вопросъ: какъ примѣняетъ Плехановъ отмѣченный выше основной критерій общественнаго развитія—законъ развитія производительныхъ силъ? Другими словами, достаточенъ ли тотъ методъ, который примѣняло до сихъ поръ большинство изслѣдователей марксистовъ?

Методъ Маркса есть прежде всего ученіе о взаимоотношеніи различныхъ элементовъ дѣятельности общественнаго человѣка—ученіе о взаимной связи «основанія» (экономическихъ отношеній) и «надстроекъ» (политическаго строя и общественной психики).

<sup>1)</sup> Это положеніе, элементарное для всякаго сторонника матеріалистическаго пониманія исторіи, до сихъ поръ остается по ту сторону разумнѣнныя проф. Кизеветтера. Послѣдній выставляетъ противъ Плеханова (точнѣе декретируетъ) три положенія: 1) типы историческаго развитія условны; 2) Московское государство отличалось и отъ восточныхъ деспотій; 3) и въ исторіи Востока наука открыла процессы, знакомые Европѣ. Первый декретъ извѣстенъ не только проф. Кизеветтеру: онъ былъ извѣстенъ, надо полагать, и тому чеховскому учителю, который на смертномъ одрѣ повторялъ то, что всѣмъ извѣстно. Правильность третьяго тезиса нисколько не препятствуетъ тому, что Египетъ и Франція—при нѣкоторыхъ чертахъ «сходства» въ ихъ эволюціи—все же, благодаря глубокимъ чертамъ различія, остаются различными типами. Пару словъ о второмъ тезисѣ. Г. Кизеветтеръ говоритъ, что онъ иногда не находилъ въ трудѣ Плеханова того, что искалъ. Считаемо своимъ долгомъ придти на помощь внимательному критику: тезисъ, который онъ выставляетъ противъ Плеханова, обоснованъ послѣднимъ на стр. 86 перваго тома.

До сихъ поръ въ марксизмѣ боролись два противоположныхъ пониманія этого взаимоотношенія. Одно изъ нихъ представляетъ собою разновидность теории факторовъ. Съ точки зрѣнія его сторонниковъ, «факторы» общественнаго развитія раздѣляются на «основные» и производные. Экономическія отношенія являются единственнымъ основнымъ факторомъ; всѣ остальные—его слѣдствія (политическій строй, общественная психика) или даже протія отраженія («идеологія»). Эта теорія, въ сущности, обѣими ногами стоитъ на почвѣ теоретическихъ предпосылокъ монадологіи Лейбница и можетъ быть названа ученіемъ о предустановленной гармоніи «основанія» и «надстройки»<sup>1)</sup>. Противъ подобнаго истолкованія теории Маркса неоднократно высказывались всѣ наиболѣе выдающіеся теоретики историческаго матеріализма. Общество представляетъ собою сложную и вѣчно измѣняющуюся систему отношеній; всѣ ея отдѣльные элементы находятся въ постоянномъ взаимодействіи. Во всякомъ органическомъ цѣломъ причина и слѣдствіе мѣняются мѣстами; экономическія отношенія создаютъ опредѣленный политическій строй, который оказываетъ на нихъ обратное вліяніе. Такъ же обстоитъ дѣло и съ другими «надстройками»: онѣ обладаютъ собственной внутренней законностью и только въ «последнемъ счетѣ» опредѣляются экономическими отношеніями. Это ученіе, которое можно назвать теоріей относительной самостоятельности надстройки, отстаивали Энгельсъ и Каутскій въ Германіи, Плехановъ въ Россіи, Крживицкій въ Польшѣ, Лабріола въ романскихъ странахъ.

Первая теорія въ ея чистомъ видѣ, въ сущности, не заслуживаетъ опроверженія: рѣзко противопоставляя другъ другу «основаніе» и «надстройку», какъ особыя сущности, она представляетъ собою худшую разновидность теории факторовъ. Ея послѣдователи стремятся превратить марксизмъ въ гоголевскаго героя, въ какого-то Хому Брута общественной науки, который очертилъ около себя магическій кругъ изъ «экономическихъ отношеній», чтобы бороться со всякими вторженіями идеалистическаго духа. Если мы сейчасъ и останавливаемся на подобныхъ теоріяхъ, то къ этому насъ побуждаютъ слѣдующія основанія. Во-первыхъ, теорія предустановленной гармоніи — незамѣнимая находка для столь многочисленныхъ всегда враговъ историческаго матеріализма. Истолковать ученіе Маркса въ духъ Лейбницевои теоріи «предустановленной гармоніи», а затѣмъ торжественно опровергнуть это созданіе собственнаго воображенія или потребовать его «исправленія»—таковъ, въ сущности, почти единственный методъ,

<sup>1)</sup> Эта школа одно время получила большое распространеніе у насъ въ Россіи. Она имѣла здѣсь своихъ философовъ (Шулятиковъ, Богдановъ), своихъ соціологовъ (Богдановъ), историковъ литературы (Фриче и нѣкоторые другіе представители «марксистской» литературной критики). Замѣчательно, что одинъ изъ ея представителей, Богдановъ, пришелъ къ Лейбницу и въ области теории познанія («соціально-гармонизованный опытъ»). Справедливость, впрочемъ, требуетъ прибавить, что самъ Лейбницъ понималъ отношеніе такихъ надстроекъ, какъ божество, свобода воли и бессмертіе, къ базису гораздо лучше, чѣмъ его послѣдователи изъ лагеря марксистовъ: не даромъ ему удалось предсказать послѣдствія «мятежнаго духа» XVIII вѣка (см. Nouveaux Essais, l. IV, ch. 16).

къ которому около полувѣка прибѣгаютъ Донъ-Кихоты «критики Маркса». Во-вторыхъ, теорія относительной самостоятельности «надстроекъ» слишкомъ сложна и мало разработана, а теорія «предустановленной гармоніи» слишкомъ проста и не нуждается ни въ какой разработкѣ. Поэтому даже тѣ изслѣдователи-марксисты, которые не заявляли себя открыто сторонниками метода Лейбница, въ своихъ попыткахъ практическаго примѣненія метода Маркса часто отклонялись отъ его дѣйствительныхъ требованій въ сторону «гармоніи».

Все это и заставляетъ насъ остановить вниманіе читателя на изложенномъ ученіи о «предустановленной гармоніи», которому наноситъ рѣшительный ударъ изслѣдованіе Плеханова.

Какова прежде всего та цѣль, къ которой долженъ стремиться историкъ-материалистъ? Съ точки зрѣнія сторонниковъ «гармоніи» эта цѣль исчерпывается установленіемъ общихъ законовъ экономическаго развитія данной страны и доказательствомъ, что развитіе «надстроекъ» идетъ параллельнымъ путемъ. Изслѣдованіе Плеханова наглядно показываетъ намъ всю ошибочность подобной постановки вопроса. Въ самомъ дѣлѣ, Плехановъ доказалъ, что ростъ производительныхъ силъ Кіевской Руси одновременно вызвалъ не усиленіе, а ослабленіе ея военной мощи; классовая борьба въ послѣ-петровской Руси не расшатывала ея политическаго уклада, какъ этого слѣдвало бы ожидать по рецептамъ вулгарнаго марксизма, а укрѣпляла его; болѣе сильное развитіе производительныхъ силъ Россіи по сравненію съ Китаемъ привело опять-таки къ замедленію, а не къ ускоренію ея политическаго развитія. Не трудно показать и теоретическую несостоятельность взгляда сторонниковъ «гармоніи». Уже Спиноза отмѣтилъ, что при изслѣдованіи общественныхъ явленій мы должны строго различать «разсмотрѣніе съ помощью общихъ законовъ» и «объясненіе вещей съ помощью ближайшихъ причинъ», хотя послѣднее есть только примѣненіе перваго. Въ полномъ согласіи съ этимъ требованіемъ Спинозы и Марксъ различаетъ два рода законовъ. «Абстрактные» законы, которые присущи болѣе или менѣе всѣмъ общественнымъ формамъ, представляютъ собою общіе законы дѣятельности «общественнаго челоуѣка». Конкретные законы формулируютъ дѣйствіе, обнаруженіе общихъ законовъ въ исторіи отдѣльныхъ общественныхъ группъ. Историкъ, поскольку онъ остается историкомъ, имѣетъ дѣло только съ живою дѣйствительностью, только съ конкретными обнаруженіями общихъ законовъ. Вотъ почему, вопреки обычному методу большинства изслѣдователей-марксистовъ<sup>1)</sup>, установленіе именно частныхъ, конкретныхъ законовъ развитія данной страны—единственная задача историка; общіе законы могутъ служить для него только методомъ, средствомъ къ открытію част-

<sup>1)</sup> Какъ общее правило, такой методъ встрѣчается у марксистовъ-историковъ (несмотря на такіе блестящіе образцы правильнаго метода, какъ работы Каутскаго). Примѣрами могутъ служить такія солидныя во многихъ отношеніяхъ изслѣдованія, какъ «Lessing-Legende» Меринга, «Русская исторія» Покровскаго, а такъ и второй томъ коллективнаго труда «Предшественники новѣйшаго социализма» (Гуго Лафаргъ, Бернштейнъ).

ныхъ законовъ развитія даннаго общества. Въ социологіи, наукѣ объ общихъ законахъ социальнаго развитія, марксизмъ выступаетъ какъ научная теорія, оправданная фактами и притязающая на общезначимость. Но въ исторіи, наукѣ о конкретныхъ законахъ развитія отдѣльныхъ общественныхъ образований, марксизмъ можетъ и долженъ выступать только какъ единственный строго-научный методъ раскрытія этихъ конкретныхъ законовъ.

Каковы же основные методы установленія этихъ законовъ? Съ точки зрѣнія «предустановленной гармоніи» научные приемы изслѣдователя-марксиста очень не сложны: онъ долженъ свести «надстройку» къ ея «основѣ», т.-е. очистить ее отъ всего, что дѣлаетъ ее надстройкой, и, наконецъ, наклеить на полученные препараты надлежащій экономическій ярлыкъ. Такихъ ярлыковъ всегда достаточно: къ услугамъ изслѣдователя готовыя схемы, составленныя на основаніи результатовъ, уже добытыхъ школой Маркса. Этотъ своеобразный историческій методъ, удобоприменяющій историка-марксиста фармацевту, конечно, не имѣетъ ничего общаго съ марксизмомъ.

Во-первыхъ, ни одинъ элементъ общественной жизни не существуетъ и не долженъ разсматриваться внѣ связи съ общественнымъ цѣлымъ, которое составляетъ необходимое условіе развитія всѣхъ своихъ частей — въ томъ числѣ и экономическихъ отношений. Въ самомъ дѣлѣ, какое представленіе получили бы мы объ особенностяхъ нашего экономического пути, если бы мы оставили безъ вниманія дѣятельность государственной власти Московскаго царства, закрѣпившей ему всѣ классы русскаго общества? Точно такъ же намъ никогда не удалось бы постигнуть своеобразныя черты нашей эпохи «реформъ» и нашей революціи, если бы мы вмѣстѣ съ М. Н. Покровскимъ забыли объ аграрной традиціи русскаго государства и ея своеобразномъ идейномъ отраженіи въ умахъ крестьянства. Установить законы экономического развитія данной страны, не принимая во вниманіе его неразрывной связи съ имъ же самимъ създанной политической и даже идейной надстройкой — задача совершенно неразрѣшимая: «надстройки» неотдѣлимы отъ экономическихъ отношений и являются условіемъ и стимуломъ ихъ высшаго развитія. Это положеніе далеко не ново, но его стоитъ лишній разъ отмѣтить: забывающіе его изслѣдователи склонны искать стимуловъ развитія общества не въ самихъ общественныхъ отношеніяхъ, а по ту сторону ихъ напр., въ «ростѣ населенія» или въ «экономическомъ принципѣ»<sup>1)</sup>. Это возвращеніе къ старому ученію о «первобытныхъ силахъ», несомнѣнно, находится въ противорѣчій съ основной предпосылкой ученія Маркса: общественное развитіе совершается не подъ вліяніемъ внѣшняго давленія, а въ силу присущей ему внутренней закономерности.

<sup>1)</sup> Недооцѣнка внутренней закономерности общественнаго цѣлаго — обычное явленіе у марксистовъ-экономистовъ. Примѣромъ могутъ служить Келлессъ-Краузь, Масловъ. Последній приходитъ въ итогъ къ такой классификаціи системъ хозяйства, которая по духу очень близка къ Бюхеру и очень далека отъ марксизма, такъ какъ совершенно устрачаетъ моментъ эксплуатаціи (сравн. соображенія Каутскаго въ „Vorwort zum *Salviolis Kapitalismus*“ etc.).

Но соблюденія одного этого требованія недостаточно. Отдѣльные части общественнаго дѣлага должны разсматриваться не только въ связи съ общей внутренней закономѣрностью дѣлага: онѣ должны познаваться во всемъ многообразіи и своеобразіи своихъ сочетаній, своего взаимодѣйствія. Если изслѣдователь имѣетъ дѣло съ расчлененнымъ классовымъ обществомъ, развитіе котораго совершалось въ силу собственной внутренней логики, онъ долженъ учесть не только основныя, наиболѣе общія его противорѣчія, но и частныя, второстепенныя, — если такъ можно выразиться, противорѣчія внутри противорѣчій. Такимъ путемъ Каутскому удалось вскрыть внутреннія пружины французской революціи. Но исторія есть не только борьба классовъ внутри государства или же отдѣльныхъ группъ внутри класса: исторія была и остается до сихъ поръ скрытой или явной борьбой классовыхъ обществъ (государствъ) другъ съ другомъ. Россія именно принадлежитъ къ числу государствъ, въ исторіи которыхъ вышнія столкновенія играли не меньшую роль, чѣмъ внутренняя логика ея общественнаго развитія. Поэтому Плехановъ поступаетъ совершенно правильно, когда, желая прослѣдить экономическое развитіе Россіи, разсматриваетъ его не только въ неразрывной связи съ ея политическимъ строемъ, но и въ тѣй своеобразной международной обстановкѣ, въ которой оно совершалось въ теченіе дѣлхъ столѣтій<sup>1)</sup>. Словомъ, историкъ долженъ изучать экономическія отношенія въ ихъ своеобразіи, чтобы открыть конкретные законы ихъ развитія: иначе онъ не дастъ намъ ничего, кромѣ простой формулы и шаблона. Тѣмъ болѣе онъ обязанъ слѣдовать тому же методу, если рѣчь идетъ о такихъ сложныхъ образованіяхъ, какъ надстройки.

Въ-третьихъ. Чтобы познать это своеобразіе сложныхъ явленій, историкъ-материалистъ долженъ исходить изъ простѣйшихъ элементовъ общественнаго развитія. Какъ это дѣлать? Если рѣчь идетъ объ экономическихъ отношеніяхъ, то разрѣшеніе вопроса не представляетъ особыхъ теоретическихъ затрудненій: производственные отношенія непосредственно связаны съ простѣйшими элементами — производительными силами. Но какъ поступать, если рѣчь идетъ объ явленіяхъ болѣе сложныхъ и удаленныхъ отъ «основанія»? Установившійся въ марксистской литературѣ шаблонъ отвѣчалъ на

<sup>1)</sup> Упущеніе этого момента было обычнымъ правиломъ въ марксистской политической публицистикѣ до войны. Между тѣмъ уже классическая „*Neue Rheinische Zeitung*“ (ср. Mehring. *G. d. deutsch. S.-D.*, II, 108 ff.) указывала на его важность. Впослѣдствіи его особенно рѣзко выдвигали Энгельсъ (въ «Присхожденіи семьи»), Каутскій (въ книгѣ о происхожденіи христіанства, въ рецензіи на главный трудъ Гумпловича и особенно въ блестящемъ предисловіи къ нѣм. переводу книги Salvioli объ античномъ капитализмѣ; въ Россіи — Зиберъ («Оч. первобытн. культуры»), въ Польшѣ Крживицкіи (въ «Психическихъ расахъ»). Но эти указанія очень рѣдко принимались къ руководству; до сихъ поръ еще многіе марксисты вмѣстѣ съ М. Покровскимъ считаютъ возможнымъ объяснять такіе историческіе факты, какъ разложеніе Киевской Руси, петровская реформа или освобожденіе крестьянъ — почти безъ всякаго вниманія къ международнымъ отношеніямъ. Именно это невниманіе — одна изъ ближайшихъ причинъ того, что переживаемыя событія застали врасплохъ теорію марксизма.

подобные вопросы апелляцией къ экономическимъ отношеніямъ; методъ изслѣдованія состоялъ въ томъ, что сначала влиялись общіе законы экономического развитія дачной страны, а затѣмъ указывалось, что развитіе надстроекъ «соотвѣтствуетъ» развитію ихъ экономической основы. Подобнымъ методомъ пользовались, напримѣръ, такіе добросовѣстные изслѣдователи, какъ Мерингъ въ своей «Исторіи германской социаль-демократіи», Гуго и Бернштейнъ въ «Предшественникахъ новѣйшаго социализма», Покровский въ «Предисловіи къ «Критикѣ политической экономіи» и какъ разъ по тѣмъ путямъ, которые были имъ предписаны еще въ знаменитомъ неофициальномъ манифестѣ 48-го года. Достаточенъ ли такой методъ? Изслѣдованіе Плеханова отвѣчаетъ на этотъ вопросъ болѣе чѣмъ отрицательно. Въ самомъ дѣлѣ, что случилось бы съ изслѣдователемъ русскаго «пути», если бы онъ упустилъ изъ виду, что политической строй обладаетъ собственной внутренней законностью и лишь въ конечномъ счетѣ опредѣляется экономическими отношеніями? Такому изслѣдователю никогда не удалось бы объяснить тѣ особенности развитія московскаго политическаго уклада, которыя, какъ показала Плехановъ, приблизили его къ строю восточныхъ деспотій и перешли по наслѣдству въ современную Россію. Ему никогда не удалось бы вскрыть главнѣйшую особенность нашего современнаго политическаго развитія, отмѣченную Плехановымъ: несмотря на отсталость русскіихъ экономическихъ отношеній, политической строй русскаго полицейскаго государства «сумѣлъ воспользоваться въ борьбѣ съ новаторами почти всѣми завоеваніями европейской техники». Такимъ образомъ, чтобы познать своеобразіе сложныхъ явленій общественной жизни, историкъ не можетъ удовольствоваться сведеніемъ ихъ къ «протѣйшимъ элементамъ»: онъ долженъ учесть ихъ собственную внутреннюю законность.

Приведенныя соображенія основывались на разборѣ данныхъ конкретнаго историческаго изслѣдованія; однако, не трудно убѣдиться, что она требуются и внутренней логикой самого теоретическаго ученія Маркса.

Исторія начинается съ того момента, когда человѣкъ становится «животнымъ, дѣлющимъ орудія». Возвышаясь до употребленія орудій труда, человѣкъ начинаетъ новую эпоху въ своей естественной эволюціи: его исторія перестаетъ быть исторіей естественныхъ его органовъ и становится «исторіей его искусственныхъ органовъ» (Плехановъ). Темное царство вѣшной биологической законности уступаетъ постепенно мѣсто внутренней социальной законности, освобождающей человѣчество отъ непосредственнаго подчиненія «естественной» средѣ. Новая, «общественная» среда, приоборѣтая собственную внутреннюю законность, становится особымъ органическимъ цѣлымъ, въ которомъ «всѣ элементы существуютъ одновременно и поддерживаютъ другъ друга» (Марксъ). Этимъ опредѣляется первое упомянутое методологическое требованіе марксизма: всѣ элементы общественнаго бытія должны разсматриваться въ ихъ неотдѣлимой связи съ внутренней законностью цѣлаго и въ непрерывномъ взаимодействіи другъ съ другомъ.

Каковы же законы, опредѣляющіе родъ и способъ этого взаимодействія? Въ «естественной» средѣ дѣйствуютъ одна на другую лишь слѣпыя, безсознательныя силы; напротивъ, въ «общественной» средѣ дѣйствуютъ люди, движимые сознательнымъ убѣжденіемъ или страстью. Но до тѣхъ поръ, пока общественное бытіе въ его цѣломъ не подчиняется руководству единаго общественного сознанія, — до тѣхъ поръ столкновеніе этихъ безчисленныхъ стремленій и дѣйствій приводитъ общественную среду къ состоянію, подобному естественной средѣ — съ ея неизмѣнными, «слѣпыми» законами. До тѣхъ поръ, пока борьба человѣка съ природой не поставлена подъ единый планомѣрный контроль, — общественная среда въ ея цѣломъ и развитіе ея отдѣльных частей подчиняются «слѣпому закону», обнаруживающему себя періодическими революціями (Энгельсъ). Этотъ законъ гласитъ: развитіе всѣхъ частей общественного цѣлага опредѣляется не ихъ внутренней закономѣрностью, а въ тѣхъ случаяхъ закономѣрностью развитія экономическихъ отношеній. Обнаруживая себя только въ столкновеніяхъ и противорѣчіяхъ множества отдѣльныхъ человѣческихъ волю, какъ противостоящая каждой изъ нихъ слѣпая «естественная» сила, этотъ законъ — символъ неорганизованности общественного бытія — отличается подавляющею конкретностью, отъ которой человечество избавится только въ социалистическомъ строѣ. Такимъ образомъ ученіе Маркса возлагаетъ на своихъ послѣдователей очень трудную задачу. Съ одной стороны, они не могутъ остановиться на томъ, что является альфой и омегой для эклектиковъ — на простомъ установленіи и описаніи «взаимодействія»; они должны объяснить родъ и способъ этого взаимодействія, опредѣляемый «слѣпымъ закономъ» экономического развитія. Съ другой стороны, они должны помнить о сугубой конкретности этого закона, обязывающей насъ «облекать историческіе факты въ тѣ покровы, въ которые они облакаются сами по мѣрѣ своего развертыванія» (Лабріола) — ибо иначе общій законъ превратится въ отвлеченную формулу. Этимъ опредѣляется второе выставленное выше методологическое требованіе, говорящее о конкретности историческаго изслѣдованія.

Какимъ же образомъ достичь этой конкретности — достичь того, что Лабріола называлъ «неразложимой приуроченностью» (*la circonstantialité spécifique*) общественныхъ явленій? Чѣмъ болѣе развивается борьба общественного человѣка съ природой, тѣмъ болѣе усложняется та система отношеній, которую мы называемъ обществомъ. Это усложненіе не ограничивается количественнымъ ростомъ общественныхъ функций: ростъ власти человѣка надъ природой неизбежно вызываетъ ихъ качественное измѣненіе и создаетъ для нихъ особую внутреннюю закономѣрность. «Надстройки» приобрѣтаютъ относительную самостоятельность — и такимъ образомъ обнаруживается справедливость третьяго вышеупомянутаго требованія методологии марксизма.

Подведемъ итоги. Предыдущее изложеніе показало истинность идеи научнаго метода, избранной противниками «гармоніи». Теперь, покончивъ съ теоріей «гармоніи», мы можемъ обратиться къ уже отмѣченному вопросу: достаточно ли та формулировка взаимоотношенія «основанія» и «надстройки», которую дали ей противники «предустановленной гармоніи»?

По опредѣленію Энгельса, «надстройки» въ своемъ развитіи

лишь «въ послѣднемъ счетѣ» опредѣляются экономическими отношеніями. Плехановъ постоянно подчеркиваетъ, что развитіе надстроекъ лишь «косвенно» объясняется экономическимъ развитіемъ: изслѣдователь «высшихъ» надстроекъ долженъ принимать во вниманіе дѣйствіе цѣлага ряда промежуточныхъ звеньевъ. Каутскій разсуждаетъ даже о предѣлахъ, въ какихъ высшія надстройки оказываются несамостоятельными и зависятъ отъ «основанія». Достаточно ли эти указанія? Не чувствуются ли въ нихъ слѣды того противопоставленія надстройки и базиса, какъ противоположныхъ элементовъ, на которомъ такъ настаиваютъ сторонники «гармоніи»?

Достаточно ли эти указанія для изслѣдованія «высшихъ» надстроекъ? Въ слѣдующихъ главахъ мы попытаемся разобраться въ итогахъ изслѣдованія «высшихъ надстроекъ», которое намъ далъ Плехановъ въ первыхъ двухъ томахъ своего труда. Мы убѣдимся тогда, что этотъ вопросъ имѣетъ и въ которое болѣе чѣмъ теоретическое значеніе для того ошественнаго ученія, для котораго «идейная надстройка» никогда не была и не можетъ быть чѣмъ-то мертвымъ, наподобіе рисунка на столѣ.

#### IV.

Движеніе «идейной надстройки» получило на Западѣ первый сильный толчекъ подъ влияніемъ борьбы свѣтской власти съ духовной. Защитники наслѣдія св. Петра не останавливались передъ самыми рѣшительными выводами: вѣщественный мечъ свѣтской власти долженъ подчиняться мечу духовному въ интересахъ народа, которому принадлежитъ право низложенія и даже умерщвленія свѣтскаго тирана—ибо власть государя основана на договорѣ съ народомъ. Съ этой воинствующей идеологіей «монархомаховъ» Плехановъ сопоставляетъ движеніе русской общественной мысли при аналогичныхъ условіяхъ. Первоначально это движеніе совершалось въ томъ же направленіи, что и на Западѣ. Русскіе духовные писатели заимствовали у «латиня» теорію двухъ мечей. Даже Іосифъ Волоцкій провозгласилъ «мучителемъ» и «дьяволомъ» неблагочестиваго царя, а патріархъ Никонъ, ополчившись противъ вмѣшательства свѣтской власти въ дѣла духовныя, сталъ обвинять ее въ «утягченіи» народа и доказывать, что царь долженъ быть «менѣе архіерея». Однако, эти выступленія русскихъ защитниковъ «апостольскаго ученія» не дошли до такихъ рѣшительныхъ выводовъ, какъ на западѣ: на соборѣ 1667 года русскіе іерархи добились признанія теоріи «двухъ свѣтильниковъ», но не осмѣлились поставить вопроса объ ихъ сравнительномъ достоинствѣ. Оппозиціонная мысль нашихъ церковныхъ писателей остановилась на полдорогѣ, а въ эпоху Петра совершенно подчинилась «правдѣ воли монаршей».

Такой же путь—точнѣе, такую же часть пути—прошла общественная мысль Москвы подъ влияніемъ классовой борьбы XVI вѣка, закончившейся разгромомъ стараго вотчиннаго землевладѣнія и окончательнымъ торжествомъ абсолютизма. Плехановъ проводитъ любопытную параллель между защитникомъ французскаго абсолютизма, идеологомъ третьяго сословія XVI вѣка, Жаномъ Боденомъ—и поборникомъ московскаго самодержавія Иваномъ Пересвѣтовымъ. Убѣжденный монархистъ, Боденъ, тѣмъ не менѣе, строго

отличает «вотчинную» монархію отъ «королевской». Въ отличіе отъ восточныхъ деспотій, къ числу которыхъ Бодянь относитъ и Московію, «королевская» монархія обезпечиваетъ своимъ подданнымъ «естественную» свободу личности и всѣ права «истинныхъ собственниковъ». Болѣе того: Бодянь возвышается до пониманія общественныхъ причинъ той «некультурности», которая проникаетъ политическія отношенія «вотчинныхъ» монархій въ родѣ Московскаго государства. Политическая мысль Ивана Пересвѣтова работала до извѣстной степени въ томъ же направленіи—но только до извѣстной степени. Выступая противъ «вельможъ» и требуя для нихъ жес. окнхъ каръ во имя общаго блага, Пересвѣтовъ заявилъ себя рѣшительнымъ противникомъ рабства и даже возвысился до мысли, что личное имущество подданныхъ неотдѣлимо отъ ихъ свободнаго состоянія. Однако, провозгласивъ царское самодержавіе единственнымъ средствомъ обузданія «вельможъ», угнетающихъ народъ, Пересвѣтовъ нигдѣ не дошелъ до мысли о границахъ самодержавной власти и не пошелъ дальше патриархальной идилліи царя, любящаго своихъ вотчинниковъ, «яко отецъ дѣтей».

Такую же картину даетъ намъ сдѣланный Плехановымъ краткій анализъ «движенія общественной мысли подъ вліяніемъ борьбы дворянства съ духовенствомъ». Часть политической программы оппозиціоннаго боярства была непосредственно продиктована его экономическими интересами. Идеологи боярства требовали, чтобы царь осуществлялъ свою власть вмѣстѣ съ боярами и не подчинялся вліянію духовенства: «непогребенные мертвецы» не должны владѣть населенными землями и вмѣшиваться въ мірскія дѣла. Оппозиціонная мысль боярства не остановилась на этихъ узко-классовыхъ требованіяхъ: увлекаемая своей внутренней логикой, она обратила вниманіе на нѣкоторые болѣе общіе вопросы. Авторъ «Бесѣды Валаамскихъ чудотворцевъ» посвящаетъ въ своемъ политическомъ памфлетѣ нѣсколько весьма прочувствованныхъ страницъ тяжелому положенію «трудниковъ», которые «вся дни тружуются безъ выбору» на земляхъ боярскихъ конкурентовъ. Однако, несмотря на эту внутреннюю работу, боярская идеологія все же не могла даже приблизиться къ тому уровню, котораго достигла политическая мысль западно-европейской аристократіи. Плехановъ сопоставляетъ позицію, занятую Курбскимъ въ его «Перепискѣ съ Грознымъ, и политическія требованія литовскихъ «пановъ». Курбскій отстаивалъ права боярства, опираясь лишь на принадлежность его представителей къ знатнымъ родамъ, на его кровную связь съ царствующей династіей; литовскіе паны основывали свою вольность на политическихъ правахъ, завоеванныхъ путемъ долгой борьбы,—на системѣ приобрѣтенныхъ правъ, какъ выразился бы Лассаль, а не на семейныхъ воспоминаніяхъ о кровной близости къ королевскому роду. Вотъ почему политическая программа Курбскаго не выходитъ изъ круга понятій московскаго мѣстничества: его требованія нигдѣ не касаются государственнаго строя и не простираются дальше системы управленія государствомъ...

Эта ограниченность и связанность московской общественной мысли остается неизмѣнной даже послѣ такихъ бурныхъ общественныхъ движеній, какъ Смутное время и первый періодъ раскола. Плехановъ сопоставляетъ политическій языкъ Генеральныхъ Штатовъ XV вѣка и московскихъ земскихъ соборовъ. Борясь съ

непомѣрными притязаніями абсолютизма, представители французскаго третьяго сословія устами Масселена отстаивали мысль, что въ «законной» монархіи народъ принадлежитъ къ «свободному сословію»; онъ не рабъ, а подданный корольской власти. Даже представители феодальной аристократіи умѣли, когда это требовалось ихъ интересами, развивать ученіе о «peuple souverain», избирающѣмъ себѣ государя только въ собственномъ интересѣ. Французскіе депутаты иногда осмѣливались даже напоминать королю, что «бѣдный народъ», этотъ единственный источникъ «государственнаго богатства», можетъ впасть въ отчаяніе; вспомнивъ о своей силѣ, онъ «перестанетъ быть наковальней и сдѣлается молотомъ». Политическая мысль «добрыхъ и разумныхъ людей», сѣзжавшихся на московскіе земскіе соборы, также начинала рисовать въ оппозиціонномъ направленіи,—но останавливалась въ самомъ началѣ. Служилые люди жаловались, что московская вольжита разоряла ихъ больше, нежели турки и татары—но при этомъ жалобщики заботились только о своемъ сословіи и не думали о «народѣ», никогда не возвышаясь до идеи общегосударственнаго интереса. Московскіе политики часто бывали недовольны своими «обдержателями», но это недовольство было далеко отъ угрозы революціей. Московская политическая мысль считала идеаломъ «безотвѣтное», «яко рыбы безгласное» рабство и объясняла причины смуты очень просто: когда «обдержатели»—рабовладѣльцы становятся злыми и преклоняютъ свои «ушеса» къ летецамъ, нарушается Божья воля, и Провидѣніе наказываетъ всю страну за грѣхи ея властителей. Ту же картину даетъ намъ общественная мысль эпохи раскола. Съ одной стороны, его представители доходятъ иногда до отрицанія частной собственности, какъ источника всѣхъ междоусобій и «обидъ»; въ то же самое время они отстаиваютъ мертвую букву догмата и обряда, возводятъ въ принципъ умственный застой.

Какковы же причины этой связанности и ограниченности московской политической мысли? Отвѣта на этотъ вопросъ, какъ неоднократно подчеркиваетъ Плехановъ, надо искать въ общемъ ходѣ развитія московскаго общественнаго уклада. «Тамъ, гдѣ непремѣнная экономическая необходимость съ возрастающимъ ускороженіемъ вела къ посредственному или непосредственному закрѣпощенію всѣхъ силъ страны, не могла возникнуть даже мысль о самой умѣренной политической свободѣ». Плехановъ отмѣчаетъ, что даже т. н. подкрестная запись Василія Шуйскаго и негласная запись Михаила Федоровича нисколько не поколебали основныхъ принциповъ вотчинной монархіи: эти акты связывали царя не по отношенію къ государству, а по отношенію къ отдѣльнымъ лицамъ. Даже знаменитый договоръ 4 февраля менѣе всего ставилъ своей цѣлью перестройку нашего политическаго уклада, и единственный его новый пунктъ—объ огражденіи имущественныхъ правъ, о неприкосновенности «отчины и маестностей»—никогда не былъ осуществленъ. «Неясное и непоследовательное, во всѣхъ другихъ случаяхъ, политическое мышленіе московскихъ людей становилось яснымъ и последовательнымъ, когда оно направлялось на защиту безграничныхъ правъ верховной власти». Въ этомъ отношеніи особенно показательны доводы Грознаго противъ Курбскаго, которые, по тонкому замѣчанію Пле-

ханова, были как бы синтезомъ доводовъ дворянской идеологии противъ господства «вельможъ» съ доводами боярскихъ идеологовъ противъ вмѣшательства духовенства. Особенности московскаго «пути» не позволили русскимъ людямъ даже въ самыя бурныя историческія минуты выйти изъ рамокъ политической мысли Грознаго. «Tragedia Moscovitica» — какъ называли нѣкоторые иностранцы эпоху смуты — заключалась именно въ томъ, что возставшія народныя массы «не имѣли объективной возможности замѣнить московскій обществѣнный строй какимъ-нибудь новымъ, менѣе обременительнымъ для нихъ порядкомъ», и общественная мысль не могла вступить на новые пути, отвергнутые неумолимымъ ходомъ исторіи. «Московская трагедія» Смутаго времени повторилась и въ эпоху раскола. Западное вліяніе не только не устранило, но еще болѣе усилило противорѣчія въ положеніи трудящихся массъ торговаго класса, еще болѣе усложнивъ и умноживъ бремя всеобщаго закрѣпощенія «восточной деспотіи». Вотъ почему движеніе, принявшее такіе большіе размѣры подъ знаменемъ раскола, не имѣло ничего общаго съ демократизмомъ, который пыталась навязать ему народническая идеализація. Даже протопопъ Аввакумъ, разочаровавшись въ царѣ Алексѣѣ, оставался все же убѣжденнымъ монархистомъ и возлагалъ свои надежды на новаго, «миленькаго» царя. Поскольку оппозиционная мысль Москвы ополчалась на защиту интересовъ низшихъ классовъ, ея политическая программа смотрѣла не впередъ, а назадъ, обращалась не къ будущему, а къ прошлому. Она смотрѣла назадъ въ лицѣ бояръ, недовольныхъ безграничнымъ ростомъ власти московскихъ государей и появленіемъ на Руси служилыхъ иноземцевъ; она смотрѣла назадъ въ лицѣ низшаго духовенства, возмущавшагося деспотизмомъ Никона; она смотрѣла назадъ въ лицѣ торговыхъ людей, тѣснимыхъ конкуренціей иностранныхъ купцовъ; наконецъ, она стала смотрѣть назадъ въ лицѣ трудящейся массы въ собственномъ смыслѣ этихъ словъ. Сопоставляя съ расколомъ оппозиціонныя выступленія дѣйствительныхъ «бунташниковъ» въ родѣ Степки Разина, Плехановъ приходитъ къ парадоксальному на первый взглядъ выводу, что расколъ, какъ одинъ изъ видовъ выраженія народнаго недовольства, представляетъ собою во многихъ отношеніяхъ антиобщественное явленіе. «Склонность народной массы къ расколу была обратно пропорціональна ея вѣрѣ въ возможность собственными силами побѣдить царское зло».

Такова — въ самыхъ общихъ чертахъ — сущность «Московской трагедіи». Въ только что сдѣланномъ краткомъ очеркѣ мы, разумеется, должны были ограничиться тѣми данными изслѣдованія Плеханова, которыя, какъ мы искорѣ увидимъ, бросаютъ яркій свѣтъ на одну изъ сторонъ поставленной выше проблемы методологіи марксизма. Точно такъ же мы будемъ поступать и при общей характеристикѣ того, что можно назвать трагедіей петербургскаго періода исторіи русской общественной мысли: эта трагедія освѣтитъ намъ другую немаловажную сторону той же проблемы.

## V.

Критическое отношеніе къ «Московской лжи» впервые пробудилось у кн. Хворостинина — перваго русскаго человека, которому

пришла въ голову мысль искать, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ. Политическія понятія Хворостинина довольно элементарны: въ окружающей дѣйствительности едва ли не больше всего печалитъ его то, что онъ называетъ «неблагодарностью рабовъ»—его слуги донесли на своего господина, несмотря на его «благость» и хорошее обращеніе. Гораздо дальше идетъ Котошихинъ, который, какъ извѣстно, осуществилъ то, о чемъ мечталъ Хворостининъ: покинулъ Москву. Политическая мысль нашего перваго западника, написавшаго къ свѣдѣнію иностранцевъ, яркій очеркъ московской жизни, отличается нѣкоторой двойственностью. Плехановъ подчеркиваетъ, что Котошихинъ—первый русскій отрицатель, возвысившійся до мысли о связи московской неволи и невѣжества съ экономической отсталостью огромной и весьма «урожайной» страны. Однако, политическое мышленіе Котошихина отличается нѣкоторой «неповоротливостью»: высоко цѣня «вольность», онъ нигдѣ не доходитъ до мысли обезпечить ее устойчивыми политическими учрежденіями. Ту же двойственность отмѣчаетъ Плехановъ у перваго нашего славянофила—Юрія Крижанича. Подобно Котошихину, Крижаничъ рѣзко отрицательно относился къ «неумѣтельности» и «обманливости» москвичей. Считая московское «крутое владеніе» огромной помѣхой ея общественному развитію, Крижаничъ сопоставляетъ съ восточной деспотіей «законоставіе» и «слободины» французской монархіи; болѣе того: онъ требуетъ отъ государя присяги въ «неподвижномъ обдержаніи» вольностей. Наконецъ, Крижаничъ впервые подмѣтилъ, что общественное развитіе Западной Европы соверждалось обдѣлываніемъ трудящихся массъ и что положеніе земледѣльцевъ и ремесленниковъ много лучше въ бѣдномъ московскомъ государствѣ». Требуя европеизаціи Московскаго государства, Крижаничъ считалъ торговлю необходимымъ условіемъ его развитія. Однако, въ то же время онъ требовалъ «запертія рубежей» и давалъ крайне рѣзкіе отзывы о торговцахъ. Непримирымъ врагъ деспотизма, онъ въ то же время считалъ неограниченнаго монарха единственнымъ возможнымъ инициаторомъ поворота Россіи въ сторону Запада: московскій государь держалъ, по его мнѣнію, въ своихъ рукахъ «чудотворный Моисеевъ пруть» и могъ съ его помощью творить «дивна чудеса».

Противорѣчія родоначальниковъ русской интеллигенціи чрезвычайно показательны для дальнѣйшаго развитія нашей общественной мысли. Въ лицѣ Татищева она впервые пытается овладѣть богатымъ идейнымъ фондомъ европейскаго просвѣщенія. Татищевъ даетъ первую у насъ классификацію наукъ, строго отдѣляя «тѣлесную» область философіи отъ душевной, которую онъ предоставляетъ богословію. Подобно всѣмъ просвѣтителямъ, Татищевъ обосновываетъ ученіе о нравственности на «разумной любви къ себѣ», рѣшительно отстаиваетъ свободу научной и религіозной мысли и даже ополчается на защиту оклеветаннаго Эпикура. Болѣе того: рѣзко осуждая рабство и невольничество, Татищевъ отмѣчаетъ, что насиліе не создать права, и тотъ, кто насильственно удерживается въ неволѣ, имѣетъ право выступить противъ своихъ поработителей. Современникъ Татищева, Кантемиръ еще ближе подходитъ къ вопросамъ чистой теоріи. Переведя Фонтенелля, Кантемиръ впервые ввелъ у насъ опредѣленную философскую терминологию, попытался разобраться въ слабыхъ и сильныхъ сто-

ронахъ «Аристотельской философіи» и оцѣнить значеніе «математическихкихъ доказательствъ» Декарта. Отстаивая «живого бога», свободу и безсмертіе, Кантемиръ попытался обосновать свою точку зрѣнія съ помощью свѣтской философіи. Желая приносить Россіи пользу своими «малыми твореніями», Кантемиръ дошелъ до мысли, что должность литератора есть должность гражданина. Въ области морали Кантемиръ выдвинулъ идеаль «золотой умѣренности», который по мнѣнію Плеханова, вовсе не заслуживаетъ обычнаго упрека въ эклектизмъ; этотъ идеаль позволилъ Кантемиру и его единомышленникамъ довольствоваться малымъ и «сидѣть въ знатности» въ ту эпоху, когда на службѣ можно было выдвинуться очень легко—но только съ помощью одного средства—нравственной неразборчивости. Наконецъ, болѣе поздній представитель русскаго просвѣщенія XVIII вѣка, Ломоносовъ, въ своихъ ученыхъ работахъ не только сдѣлалъ попытку освѣтить пріобрѣтенія западно-европейской культурной мысли, но и значительно опередилъ современную европейскую науку своими гениальными открытіями. Такимъ образомъ, передовая русская мысль XVIII вѣка, развивавшаяся подъ непосредственнымъ или опосредственнымъ вліяніемъ петровской реформы, достигла значительной внутренней самостоятельности. Какими же тѣ политическіе выводы, которые сдѣлали первые русскіе просвѣтителы изъ своей новой идеологіи?..

Начнемъ съ Татищева. Защитникъ Эпикура и свободы мысли оказывается безусловнымъ сторонникомъ неограниченной власти русскаго монарха во всей ея восточной безпредѣльности. Западно-европейскіе учителя Татищева выводили власть монарха изъ «договора»; Татищевъ выводитъ ее непосредственно изъ власти отца вадѣ дѣтьми,—учрежденія, созданнаго «самой природой» и, слѣдовательно, неизмѣннаго. Такимъ же рѣшительнымъ противникомъ разрушительныхъ стремленій выступаетъ Татищевъ въ области социальной. Сторонникъ «разумной» любви, противникъ рабства и невольничества, Татищевъ въ то же время поборникъ шляхетскихъ привилегій и крѣпостнаго права; по его мнѣнію, вольности крестьянъ несогласимы съ русскимъ государственнымъ строемъ. Непослѣдовательность Кантемира не менѣе показательна. Сторонникъ «закона естественнаго» никогда не возставалъ, по словамъ Плеханова, «противъ безчеловѣчной основы тѣхъ нравовъ, въ которые онъ хотѣлъ внести струю челоуѣчности», т. е. противъ крѣпостнаго права. Увлекаясь «Политикой» Боссюэ, сторонника неограниченной монархіи, Кантемиръ, повидимому, не усвоилъ проводимаго въ этомъ трактатѣ различія монархіи «законной» и монархіи «произвольной», которую его учитель называлъ «варварской» и «гнусной». Даже такой типичный просвѣтитель, какъ Ломоносовъ, былъ рѣшительнымъ сторонникомъ полицейскаго государства въ его русскаго формѣ и сохранилъ «большую наивность» въ области политики, искренно восхваляя «блаженство россиянь» въ эпоху Елизаветы.

Гдѣ же искать корней этихъ противорѣчій исторіи нашего общественнаго сознанія? Плехановъ даетъ очень любопытный отвѣтъ на этотъ вопросъ уже своимъ разборомъ мыслей и дѣла князя Голицына, перваго западника, которому официальное положеніе позволило сдѣлать попытку смягчить хотя бы нѣкоторыя обнаруженія русскаго дѣйствительности. Убѣжденный западникъ, ки-

Голицынъ впервые выдвинулъ проектъ облегченія участи крестьянъ и ослабленія политики «крутого владанія». Но общественныя отношенія московскаго государства дѣлали доступнымъ для титулованнаго западника только одинъ видъ политическаго воздѣйствія—личное влияніе на тотъ же самый режимъ «крутого владанія»—и только одинъ видъ борьбы: придворную интригу. Вотъ почему пражическія попытки Голицына не могли быть прочными; партія Софьи, къ которой онъ приманулъ, потеряла пориженіе, и Голицынъ былъ отправленъ въ ссылку Петромъ, тѣмъ самымъ монархомъ, которому онъ могъ стать лучшимъ и самымъ надежнымъ помощникомъ.

Дальнѣйшее развитіе русскихъ общественныхъ отношеній содѣйствовало только углубленію основнаго противорѣчія въ положеніи нашихъ просвѣтителей. Петровская реформа не только сохранила политическіе устои восточной монархіи, но и сдѣлало ихъ своей главнѣйшей опорой: «приневоливаніе» провозглашалось правительственнымъ побудить россиянъ къ дѣйствіямъ, которыя необходимы для ихъ пользы и просвѣщенія. На фонѣ всеобщей косности и «невѣжества» центральная власть пріобрѣтала видимость единственной и притомъ вполне самостоятельной творческой силы; чудотворный Моисеевъ пруть, казалось, началъ дѣйствительно творить чудеса. Вотъ почему первые русскіе просвѣтители были въ то же время первыми европеизованными идеологами русскаго деспотизма. Эта непослѣдовательность не ограничивалась областью чистой мысли—ибо въ ней была своя послѣдовательность. Такъ какъ, европеизуя Россію, «Петръ довелъ до крайности ту черту ея строя, которая сближала ее съ Востокомъ», то ученой дружинѣ приходилось въ борьбѣ за просвѣщеніе прибѣгать къ такимъ приемамъ, которые были отрицаніемъ всякаго просвѣщенія. Доносы и кровавыя расправы были главнымъ орудіемъ борьбы Прокоповича со старо-церковной партіей; Татищевъ считалъ тѣлесное наказаніе главнымъ орудіемъ «благоразсуднаго начальника» въ борьбѣ съ «суевѣрїями»; даже такой гуманный европеецъ, какъ князь Кантемиръ, зналъ только одинъ видъ борьбы съ французскими «паксвиллянтами» противъ Россіи: «Своевольнымъ судомъ черезъ тайно посланныхъ побить гораздо». Изъ всѣхъ защитниковъ дѣла Петра только Посошковъ страстно искалъ «правды» въ современныхъ ему социальныхъ отношеніяхъ; но и этотъ подмосковный купецкій человекъ менѣе всего былъ тѣмъ московскимъ прогрессистомъ, какимъ считаетъ его старая брикнеровская традиція. Плехановъ показываетъ, что «Посошковъ не сдѣлалъ ровно никакихъ открытій въ экономической теоріи», а въ экономической политикѣ выставлялъ «только такія требованія, которыя гораздо раньше его формулированы были западно-европейскими меркантилистами», и эти требованія Посошковъ приспособилъ къ социально политической обстановкѣ невѣдомой Западу полувосточной деспотіи. Выставляя дѣйствительно полезныя для народа требованія, Посошковъ, однако, подобно старовѣрамъ, «оборачивался лицомъ не къ будущему, а къ прошедшему».

Такимъ образомъ мы выяснили основныя черты сложной и долгой трагедіи русской общественной мысли московскаго и петербургскаго періодовъ. Было бы, конечно, очень любопытно сопоставить данныя изслѣдованія Плеханова съ тѣмъ эмпирическимъ ма-

теріаломъ, часть котораго легла въ его основу, но такая задача, быть можетъ, небезынтересная съ точки зрѣнія «исторіи русской общественной мысли», оказалась бы, по всей вѣроятности, очень сложной и невыполнимой. Поэтому, оставаясь въ предѣлахъ нашей темы, мы используемъ приведенныя данныя только для цѣлей «чистой теоріи». Поставленный выше вопросъ гласилъ: достаточна ли та формулировка взаимоотношенія «основанія» и «настройки», которую ей дали противники «предустановленной гармоніи»? Правильно ли выражаетъ она основную идею, которою долженъ руководствоваться матеріалистическій методъ при изслѣдованіи высшихъ надстроекъ? Этой важной проблемой мы сейчасъ и займемся.

## VI.

Современный социализмъ есть прежде всего неизбежное слѣдствіе историческихъ тенденцій, необходимо развивающихся въ видѣрахъ «экономическаго основанія» современнаго общества. Съ другой стороны, онъ выступаетъ съ «дѣйственнымъ» трипаномъ этого экономическаго основанія, какъ опредѣленная «настройка». Поэтому познаніе взаимоотношенія основанія и надстройки есть въ то же время познаніе практическаго значенія идеи социализма, и только что поставленный вопросъ приобретаетъ болѣе чѣмъ теоретическое значеніе. Ограничиваясь методологической стороной этого сложнаго вопроса, сначала рассмотримъ мнѣнія двухъ выдающихся представителей новѣйшаго социализма: одинъ изъ нихъ—теоретикъ, который болѣе, чѣмъ кто бы то ни было, былъ одновременно практикомъ; другой—виднѣйшій вождь-практикъ, обладавшій большою чуткостью и къ чистой теоретической мысли.

«Мы всѣ на первыхъ порахъ считали и должны были считать особенно важнымъ выведеніе политическихъ, правовыхъ и прочихъ идеологическихъ представлений . . . изъ основныхъ экономическихъ фактовъ. При этомъ изъ-за содержанія не обращали достаточнаго вниманія на формальную сторону: на родъ и способъ, какими эти настройки создаются». Такъ писалъ Энгельсъ Мерингу въ июлѣ 1893 года. Энгельсъ признаетъ, что эта сторона матеріалистическаго метода оставалась въ большемъ пренебреженіи, чѣмъ она того заслуживала. Міръ идеологій очень сложенъ: «историческій идеологъ . . . располагаетъ въ каждой научной области матеріаломъ, который образовался самостоятельно изъ мысленія предшествующихъ поколѣній и продѣлалъ въ ихъ мозгу собственную самостоятельную эволюцію». Какой характеръ носить это идеологическое творчество? «Возможно, что внѣшніе факты, относящіеся къ собственной или чужой области, оказали извѣстное соопредѣляющее (mitbestimmend) вліяніе на эту эволюцію идеологій»; но для самого идеолога такія внѣшнія причины представляются простыми порожденіями его мыслительнаго процесса, и такимъ образомъ онъ все время остается «въ предѣлахъ чистаго мысленія, благополучно пер-варивающаго даже самыя жесткіе факты». По мнѣнію Энгельса, эта внутренняя самостоятельность идеологій—только призракъ, только видимость (Schein) ослѣпляющая глаза людей. Лютеръ и Кальвинъ «преодолѣваютъ» богословскія теоріи офіціального католицизма; Гегель испровергаетъ Фихте и Канта. Руссо косвеннымъ образомъ сводитъ счеты съ конституціонализмомъ

Мотескье; во всѣхъ этихъ случаяхъ мы остаемся въ предѣлахъ философіи богословія, государствѣдѣнія и не выходимъ изъ области чистой мысли. Энгельсъ рѣшительно отказывается признать дѣйствительную, а не мнимую только внутреннюю самостоятельность за подобнаго рода движеніями чистой мысли. Идеологическое творчество совершается сознательно—но съ ложнымъ сознаниемъ (*falsches Bewusstsein*), ибо подлинныя силы, приводящія его въ движеніе, остаются неизвѣстными идеологу. Историкъ-материалистъ долженъ учитывать эту мнимую внутреннюю самостоятельность міра идеологій, но онъ долженъ помнить, что она является не фактомъ, а только его вѣшной оболочкой<sup>1)</sup>.

Совершенно иную позицію занимаетъ Жоресъ. Онъ согласенъ съ марксистами, что «экономическое строеніе общества въ каждомъ историческомъ періодѣ опредѣляетъ собою политическія формы, общественныя нравы и даже главное направленіе общественной мысли». Но человѣкъ живетъ не только въ социальной средѣ; его чувства и мысли имѣютъ дѣло и съ другой, гораздо болѣе обширной средой:—вселенной. «Свободная наука Кеплеровъ и Галилеевъ всей своей сложной и богатой великими достиженіями исторіей краснорѣчиво говоритъ намъ, по мнѣнію Жореса, что человѣческій разумъ «весьма часто опирается на социальный строй лишь для того, чтобы переступить за его предѣлы». Овладевъ истиной, человѣческій разумъ перестаетъ уже зависть отъ социальной среды: «сама истина, съ ея требованіями и выводами, становится его непосредственной средою», и онъ оказывается въ зависимости только отъ самого себя и отъ вселенной. И Жоресъ со свойственнымъ ему блескомъ защищаетъ свою излюбленную идею: «социальная среда, въ которой человѣческій разумъ обрѣтаетъ свою исходную точку и отъ которой онъ получаетъ первый толчекъ къ полету своей мысли, часто раздвигаетъ свои стѣны, и эта мысль уже не вѣдаетъ иныхъ законовъ, кромѣ законовъ безконечнаго звѣзднаго пространства». Правильное истолкованіе исторіи должно быть одновременно «материалистическимъ согласно съ Марксомъ и мистическимъ въ духѣ Мишле». Закачичивая первый томъ своего замѣчательнаго историческаго труда, Жоресъ приходитъ къ выводу, что только эта вполне реальная внутренняя самостоятельность міра идеологій можетъ объяснить намъ «скорбную и пламенную душу» французской революціи. Уже въ эпоху учредительнаго собранія, несмотря на всю умѣренность первоначальныхъ выступленій третьяго сословія, «пытливая логика идеи глухо бродила въ умахъ», и членамъ собранія не надо было перерождаться, чтобы войти въ конвентъ: «имъ достаточно было лишь отдаться логическому развитію своихъ первоначальныхъ идей, которыя вна-

1) Аналогичныя высказыванія Энгельса въ свое время надѣляли много шума въ нѣмецкой печати Бернштейнъ и другіе ревизионисты, научная добросовѣстность которыхъ обратнo пропорціональна ихъ теоретической осведомленности, построили цѣлый рядъ глубокомысленныхъ, но малообоснованныхъ и, въ общемъ, совершенно нелѣпыхъ сужденій объ отказѣ Энгельса отъ односторонности «экономическаго материализма». Какъ мы сейчасъ увидимся, Энгельсъ не сдѣлалъ не только никакихъ «уступокъ», но даже оставилъ въ тѣни одну изъ не-маловажныхъ идей материалистическаго метода.

чалъ были подавлены тяжестью историческихъ традицій». И Жоресъ приходитъ къ выводу, что концепція историческаго материализма, этотъ «превосходный путеводитель въ сложныхъ сплетеніяхъ историческихъ фактовъ», не можетъ исчерпать всю дѣйствительность исторіи и наталкивается на непреодолимые границы при изслѣдованіи вышнихъ надстроекъ <sup>1)</sup>.

Теперь сопоставимъ оба эти взаимно исключаютельныхъ взгляда съ тѣми данными, которые мы привели выше, руководствуясь изслѣдованіемъ Плеханова. Для ировѣрки мнѣнія Энгельса о «призрачной» независимости міра идей обратимся къ «московской трагедіи». Мы остановились на ней подробно: правильно освѣщенные факты всегда убѣдительнѣе отвлеченныхъ теоретическихъ разсужденій. А что говорить намъ эти факты?

Въ чемъ заключается—съ теоретической точки зрѣнія—сущность «московской трагедіи»? Общественное сознание, не находившее себѣ точекъ опоры и новыхъ стимуловъ въ общественномъ бытіи, осуждено было на постоянное однообразное движеніе въ одномъ и томъ же кругу политическихъ представленій. Идея всеустроющей царской власти неизбѣжно связывалась съ идеей ея неограниченности, и эти представленія неизмѣнно оставались господствующей ассоціаціей московскаго политическаго сознанія. Когда же московскимъ идеологамъ приходилось имѣть дѣло съ какой-нибудь новой проблемой, выдвинутой ходомъ исторіи, ихъ критика никогда не осмѣливалась касаться основнаго учрежденія московскаго политическаго уклада; болѣе того—направляясь противъ отдѣльныхъ личностей, недостойныхъ «царскаго сана», она только лишній разъ утверждала незыблемость самаго учрежденія. Бурные времена Смуты и раскола менѣе всего способствовали преодолѣнію этой бурной безконечности московскаго политическаго мышленія. Дѣйствительность не давала достаточныхъ основаній для отиѣны стараго самодержавія, и оппозиціонная мысль, даже въ наиболѣе смѣлыхъ своихъ обнаруженіяхъ, смотрѣла не впередъ, а назадъ: она не выступала противъ основнаго учрежденія—она только требовала возвращенія къ тѣмъ временамъ, когда это самое учрежденіе функционировало съ меньшимъ ущербомъ для общественныхъ группъ, интересы которыхъ сознательно или бессознательно отстаивали непокорные идеологи. Такимъ образомъ, въковъ е развитіе политической идеологіи Московской Руси представляетъ собою любопытнѣйшую картину связанности и ограниченности того, что можно назвать внутренней причинностью общественной мысли. Однако, въ правѣ ли мы отрицать эту внутреннюю причинность или даже провозгласить ее призрачной? Мы убѣдились выше, что историческая дѣйствительность ставила передъ сознаніемъ московскихъ людей немало тревожныхъ и жгучихъ политическихъ вопросовъ. Попытки ихъ разрѣшенія обнаруживаютъ значительную внутреннюю работу мысли. И въ политическихъ выступленіяхъ

---

<sup>1)</sup> Изложенное письмо Энгельса къ Мерингу опубликовано послѣднимъ въ примѣчаніяхъ къ первому тому его «Ист. германской с.-д.» (I, 375 ff.). Позиція Жореса изложена по предисловію и заключительнымъ страницамъ перваго тома его изслѣдованія о французской революціи, столь высоко цѣнимаго специалистами (La Constituante, pp. 7 sq. 751 sq.).

церковныхъ публицистовъ, и въ своеобразной утопіи Пересвѣтова, и въ горькихъ упрекахъ Курбскаго, и даже въ малодвижныхъ силлогизмахъ старовѣровъ московская общественная мысль начинаетъ двигаться въ томъ же направленіи, въ какомъ работала вначалѣ передовая мысль Запада. Правда, только «начинаетъ»: эта внутренняя работа «идеальной надстройки» останавливается на полпути въ силу отиженнѣйшихъ выше особенностей «основанія». Въ этомъ отношеніи *tragedia moscovitica* даетъ вамъ картину, особенно интересную для научной методологии: московское общественное бытіе ставило передъ московскимъ сознаніемъ политическія проблемы съ такою же настойчивостью, съ какою оно одновременно стирало всякую реальную опору и всякія идейныя средства для ихъ разрѣшенія. Но историкъ — и особенно историкъ марксистъ — долженъ отнестись къ московскому сознанію болѣе справедливо, чѣмъ относилась къ нему московская дѣйствительность, которая почти никогда не считалась съ собственными идейными созданіями и, если вызывала сложную, вполне реальную внутреннюю работу мысли, то лишь для того, чтобы утвердить и оправдать свое собственное элементарное историческое содержаніе. Историкъ долженъ помнить, что, подчиняясь въ своемъ развитіи «основанію», идеологии обладаютъ дѣйствительною, а не призрачною внутренней самостоятельностью — поскольку она требуется противорѣчіями, заложенными въ ядрахъ самого «основанія». Считая призрачною эту внутреннюю самостоятельность, мы не объяснили бы до конца даже такихъ элементарныхъ надстроекъ, какъ московская общественная мысль XVI вѣка; мы не слишкомъ далеко ушли бы отъ теории предустановленной гармоніи съ ея методомъ наклеиванія экономическихъ ярлыковъ.

Теперь разберемъ мнѣніе Жореса. Трудно полыскать для этой цѣли болѣе подходящій матеріалъ, чѣмъ движеніе русской общественной мысли послѣ поворота къ Западу. Ученая дружина Петра жила и мыслила въ блестящемъ одиночествѣ. Окружающая общественная среда была слишкомъ далека отъ міра идей нашихъ первыхъ просвѣтителей, и самое большее, что они могли получить отъ нея — это, выражаясь языкомъ Жореса, «обрѣсти въ ней исходную точку и первыя побужденія къ полету своей мысли». Вторыхъ, эта общественная среда не успѣла еще выработать сложную систему идей для своей защиты и оправданія; восточная деспотія привыкла апеллировать къ голому факту и не чувствовала необходимости оправдывать его сложными идеологическими построеніями. Общераспространенный въ московскомъ государствѣ фетишизмъ царской власти не могъ подчинить нашихъ просвѣтителей своему вліянію въ той первобытной формѣ, въ какой онъ еще не одно столѣтіе продолжалъ конюшомъ тяготѣть надъ головами народныхъ массъ. Не связанное тѣсною непосредственною зависимостью отъ общественной среды, политическое мышленіе нашихъ первыхъ просвѣтителей не могло испытывать и особенно сильной опосредственной зависимости — зависимости отъ традиціонной идеологии. Наконецъ, въ-третьихъ, политическоя и философскоя мысли «новыхъ людей» не приходилось предѣлывать сложную и утомительную работу созданія новаго міровоззрѣнія: въ ихъ распоряженіи былъ уже огромный идейный фондъ, накопленный вѣковыми усиліями западной мысли со времени Воз-

рождения. Таким образом, съ отвлеченной точки зрѣнія, теоретической разумъ нашихъ первыхъ просвѣтителей могъ, дѣйствительно, оставаться въ предѣлахъ уже добытой истины и «не вѣдать иныхъ законовъ, кромѣ законовъ безконечнаго звѣзднаго пространства», а ихъ практической разумъ долженъ былъ опираться на социальный строй «лишь для того, чтобы переступить за его предѣлы и вступить съ нимъ въ борьбу». Что же мы встрѣчаемъ въ дѣйствительности? Давняя предидущей главы свидѣтельствуя, что въ лицѣ членовъ «ученой дружины» и Ломоносова европеизованная русская мысль достигаетъ значительной внутренней независимости; но тѣ же данныя еще болѣе краснорѣчиво говорятъ о многомъ другомъ. Теоретическій разумъ нашихъ просвѣтителей заимствовалъ изъ европейскаго идейнаго фонда только то, что не находилось въ непосредственномъ противорѣчии съ русской дѣйствительностью; онъ воспользовался учениемъ объ естественномъ правѣ для оправданія принципа «самодержавнаго владѣтельства» во всей его русской безпредѣльности. Что касается ихъ практическаго разума, то онъ не ограничился тѣмъ, что, по примѣру западныхъ учителей, провозгласилъ полицейское государство опорой просвѣщенія: онъ не остановился передъ принципиальнымъ оправданіемъ такихъ приемовъ распространенія культуры, которые повзались бы варварствомъ самымъ рѣшительнымъ защитникамъ западнаго абсолютизма. Съ этой стороны трагедія русской общественной мысли петербургскаго періода представляетъ не меньшій теоретическій интересъ, чѣмъ *tragedia moscovitica*: послѣ упорной внутренней работы, общественная мысль нашихъ первыхъ просвѣтителей приходила къ утвержденію того общественнаго уклада, отрицаніе котораго диктовалось всей ея внутренней логикой. Такимъ образомъ, вопреки мѣтнію Жореса, познаніе истины, дѣлая чело-вѣческой разумъ «независимымъ отъ государей, общества и чело-вѣчества», часто приводитъ его именно къ идейному утвержденію этой зависимости. Дальнѣйшія изслѣдованія Плеханова о судьбахъ многострадаальной мысли русской интеллигенціи, по всей вѣроятности, еще рѣзче обнаружатъ, что внутренняя независимость идеи, не вѣдающей иныхъ законовъ, кромѣ законовъ царства истины, осуществляется въ исторіи лишь въ очень ограниченныхъ размѣрахъ.

Теперь мы можемъ перейти отъ историческихъ сопоставленій къ теоретической сторонѣ вопроса. Разъясняя соотношеніе свободы и необходимости чело-вѣческихъ дѣйствій, Спиноза писалъ одному изъ своихъ корреспондентовъ: «Свободной я называю такую вещь, которая существуетъ и дѣйствуетъ въ силу одной необходимости ея собственной природы, а вынужденной вещь—такую, которая опредѣляется къ бытію и дѣйствованію другою вещью... Какъ видите, я полагаю свободу не въ свободномъ рѣшеніи, а въ свободной необходимости». Съ этой точки зрѣнія не можетъ быть свободенъ камень, ибо онъ «получаетъ опредѣленное количество движенія отъ толкающей его внѣшней причины». Но чело-вѣческая мысль можетъ быть свободна—въ той мѣрѣ, въ какой она дѣйствуетъ не въ силу внѣшняго принужденія, а въ силу собственной внутренней необходимости. Таковъ основной принципъ спинозовскаго ученія о свободѣ, который былъ воспринятъ марксизмомъ черезъ

посредство нѣмецкой классической философіи<sup>1)</sup>. Поэтому поставленный выше вопросъ объ отношеніи высшихъ надстроекъ къ основанію сводится къ болѣе общему философскому вопросу—къ вопросу объ историческомъ осуществленіи свободной необходимости чело-вѣческаго мышленія. Каково взаимоотношеніе свободной необходи-мости міра идей и вынужденной необходимости міра обществен-ныхъ отношеній? Какія задачи ставитъ оно передъ материалисти-ческимъ методомъ? Это очень сложный вопросъ, но для нашей темы вполне достаточно основной идеи его разрѣшенія, которая выступаетъ совершенно ясно и опредѣленно при сопоставленіи разобранныхъ мнѣній Энгельса и Жореса.

«Наша способность познаванія тождественна съ нашей спо-собностью дѣйствія», а способность общественного человѣка къ дѣйствию опредѣляется степенью его власти надъ природой. Такимъ образомъ, совершенно правъ Энгельсъ, когда онъ утверждаетъ, что развитіе міра идей опредѣляется «въ послѣднемъ счетѣ» разви-тіемъ экономическихъ отношеній. Это положеніе, дѣйствительно, дѣлаетъ эпоху въ исторіи научной мысли: оно связываетъ единой связью всё обнаруженія дѣятельности общественного человѣка; оно соединяетъ то, что Лабріола выразительно назвалъ «міръ вой тра-гедіей челоувѣческаго труда», съ тѣмъ, что можно назвать міровой трагедіей челоувѣческой мысли. Однако, совершенно правильная по существу и глубокая по раскрывающемуся въ ней историческому смыслу, эта идея не всегда доводится Энгельсомъ до своего логи-ческаго конца.

Въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ заключается зависимость міра идей отъ міра «жесткихъ фактовъ»? Процессъ общественного труда и складывающіяся на его основѣ общественныя связи преемственны и непрерывны; самый перерывъ этой преемственности во времена революцій только восстанавливаетъ и утверждаетъ ее. Преемствен-ность въ мірѣ общественныхъ отношеній влечетъ за собою преем-ственность въ неопредѣлимомъ отъ него мірѣ идей. Уже такая чи-сто психологическая связь, подчиняя міръ идей общимъ законамъ ассоціаціи, создаетъ для него особую внутреннюю зако-номѣрность. Какую прочность могутъ приобретать подобнаго рода ассоціаціи при благоприятныхъ (или, если угодно, при неблаго-приятныхъ) общественныхъ условіяхъ,—объ этомъ достаточно крас-норѣчиво говоритъ московская трагедія русской общественной мысли. Но этого мало. Преемственность общественного развитія невозможна безъ преемственности исторически созданныхъ имъ культурныхъ цѣнностей. Болѣе того: развитіе власти надъ при-родой требуетъ не только сохраненія власти надъ познаннымъ, но, въ извѣстныхъ предѣлахъ, предвосхищенія непознаннаго. Чѣмъ болѣе усложняется борьба общественного человѣка съ природой,

<sup>1)</sup> По поводу только что приведеннаго опредѣленія Спинозы (ср. V.—Vlot. III, 195, ср. LVII) отмѣтимъ мимоходомъ: Энгельсъ (Ant-Dühr̄g. 112) придерживался мнѣнія, что «Гегель первый» правильно поставилъ проблему свободы. Это не вѣрно: первая и единственно правильная постановка въ исторіи философіи принадлежитъ Спинозѣ, подъ влияніемъ котораго уже Фихте пытался преодолѣть дуализмъ кантовской императивной этики. Идеалистическая интерпретація проблемы у Гегеля представляетъ значительный шагъ назадъ по сравненію съ материалисти-ческимъ спинозизмомъ.

тѣмъ болѣе сложныя надстройки требуются для ея поддержанія, развитія, объясненія и оправданія. Умножая вѣншее могущество міра идей, экономическія отношенія увеличиваютъ и его внутреннюю мощь, его «способность дѣйствовать въ силу законовъ собственной природы». Рядомъ съ чисто психологической закономѣрностью, закономѣрностью міра общихъ представленій, играющей такую огромную роль въ развитіи классовой и правовой психики, идейная надстройка пріобрѣтаетъ и другую болѣе строгую форму внутренней необходимости: логическую связь, закономѣрность міра понятій. Эта внутренняя закономѣрность, эта способность идеи дѣйствовать только въ силу законовъ собственной природы менѣе всего можетъ быть призрачной: она столь же дѣйствительна, какъ и міръ «жесткихъ фактовъ», ибо эта дѣйствительность требуетъ самими фактами, развитіемъ власти человѣка надъ природой и надъ собственными человѣческими отношеніями. Энгельсъ совершенно правъ, высказывая глубокую мысль, что идеологъ работаетъ сознательно, но съ ложнымъ сознаніемъ. Особенность идеологии, поскольку она остается идеологіей и не становится наукой, состоитъ въ томъ, что идея не сознаетъ связи своей внутренней необходимости съ вѣншей необходимостью—необходимостью міра вещей. Но это отсутствіе «сознанія связи» не упраздняетъ внутренней самостоятельности міра идей; внутренняя необходимость мышленія можетъ вступить въ конфликтъ съ вѣншей необходимостью бытія; не опираясь на эту вѣншую необходимость, она становится слѣпой, — но не становится призрачной. Поэтому Жоресъ справедливо настаиваетъ на внутренней самостоятельности «человѣческаго разума».

Итакъ, Жоресъ правъ, утверждая, что уже въ современной соціальной средѣ челоѣческая мысль постепенно возвышается надъ «жесткими фактами» и становится свободной. Но правъ ли онъ, настаивая, что роль соціальной среды можно свести къ пассивной роли «исходной точки» и «перваго толчка»? Предыдущія соображенія уже пытались дать отвѣтъ на этотъ вопросъ, но мы еще разъ вернемся къ нему, такъ какъ онъ имѣетъ рѣшающее значеніе для нашихъ выводовъ. Мы уже указывали, что свобода челоѣческаго мышленія тождественна со свободой челоѣческаго дѣйствія. «Идея не есть нѣчто мертвое, наподобіе рисунка на столѣ» — неустанно напоминаетъ Спиноза. «Идея, какъ таковая, уже включаетъ въ себя утвержденіе или отрицаніе», а эта способность челоѣческаго мышленія къ утвержденію или отрицанію бытія опредѣляется степенью его власти надъ бытіемъ—надъ вѣншей природой и надъ общественными отношеніями. «Жесткіе факты», къ которымъ апеллировалъ Энгельсъ и съ которыми не желалъ примириться Жоресъ, не ограничиваются ролью «перваго толчка»; они не могутъ ограничиться и пассивной ролью фона, на которомъ развѣтывается «величіе свободнаго духа, созерцающаго вѣчные законы міра вой жизни». Чтобы побѣдить факты и стать независимой отъ нихъ, идея сама должна стать фактомъ. Въ соціалистическомъ обществѣ все производство и распределеніе — и вся общественная жизнь въ ея цѣломъ — будутъ поставлены подъ строгій и всепроникающій планомѣрный контроль челоѣческаго познанія; надстройка окончательно утратитъ свой характеръ надстройки ибо идея, до сихъ поръ подчинявшаяся фактамъ, сама станетъ господ-

ствующимъ фактомъ. Общественное сознание будетъ властвовать надъ общественнымъ бытіемъ—но по волѣ самого общественного бытія. Вотъ почему для мыслителя-діалектика, если, конечно, онъ остается діалектикомъ, совершенно излишней является эмпирическая осторожность Каутскаго, рассуждающаго о «предѣлахъ» зависимости міра идей отъ міра экономическихъ отношеній: вѣдь, именно въ ростѣ и развитіи внутренней независимости надстроекъ ярче всего сказывается ихъ зависимость отъ развитія экономическихъ отношеній. И какъ ни страннымъ показалось бы подобное положеніе не діалектическому мышленію—въ социалистическомъ обществѣ зависимость міра идей отъ экономическихъ отношеній будетъ заключаться именно въ его полной отъ нихъ внутренней независимости.

Теперь намъ становится совершенно ясной общая идея матеріалистическаго метода изслѣдованія высшихъ надстроекъ. По своему идейному и психологическому содержанію ученіе Маркса—глубочайшее отрицаніе метода наклеиванія экономическихъ ярлыковъ, въ которому склонны прибѣгать сторонники предустановленной гармоніи: этотъ методъ—посквиль на человѣческую мысль, какъ справедливо выразился Плехановъ объ одной изъ такихъ фармацевтическихъ операцій. Но ученіе Маркса несомнѣнно не удовлетворится въ своемъ будущемъ развитіи тѣмъ методомъ, который примѣняло до сихъ поръ большинство изслѣдователей-марксистовъ, не примѣняющихъ предустановленной гармоніи. Для сторонника ученія Маркса, конечно, чрезвычайно важно установить «зависимость» царства идей отъ основныхъ фактовъ борьбы общественного человѣка съ природой—зависимость непосредственную или косвенную: черезъ «промежуточные звенья», черезъ низшія надстройки. Это очень важная, но только предварительная задача. Главная задача изслѣдователя гораздо сложнѣе: ему надо обнаружить и объяснить внутреннюю независимость высшихъ надстроекъ, ибо именно въ этой внутренней независимости ярче всего обнаруживается зависимость міра идей отъ достигнутой ступени живого и нераздѣльнаго процесса развитія общественного человѣка. Высшая идея самой дѣйствительности—идея «свободной необходимости», которая уже сейчасъ начинаетъ осуществляться въ человѣческомъ познаніи и въ социалистическомъ обществѣ, станетъ господствующимъ общественнымъ отношеніемъ. Научный методъ, по глубокому опредѣленію Спинозы, можетъ быть только отраженнымъ познаніемъ или идеей идеи; поэтому его высшая идея—изслѣдованіе историческихъ осуществленій этой свободы<sup>1)</sup>. Такая идея метода изслѣдованія высшихъ надстроекъ—повелительное требованіе послѣдовательно развитой теоріи научнаго социализма,—во не одной только теоріи.

Ученіе Спинозы было первымъ и высочайшимъ достиженіемъ матеріалистической философіи, въ которомъ идея научнаго метода имѣла рѣшающее значеніе. Верховная цѣль науки для Спинозы—само познаніе, ибо оно дѣйственно и въ немъ осуществляется сво-

<sup>1)</sup> Недостатокъ мѣста не позволяетъ намъ показать, что именно такой идеей научнаго метода фактически руководились теоретики научнаго социализма при изслѣдованіи «высшихъ надстроекъ».

бодная необходимость человеческого бытія. Научный методъ—только отраженное познаніе, и его основная задача—отыскать такую идею, которая была бы осуществленіемъ этой свободной необходимости. Спиноза нашелъ такую верховную идею: это идея божества—природы, дѣйствующей и созидающей только въ силу внутренней необходимости. Но познаніе этой безконечной идеи недостижимо одними только личными усиліями: поэтому «необходимо образовать такое общество, которое желательно, чтобы наибольшее количество людей легчайшимъ и вѣрнѣйшимъ путемъ приходило къ этой цѣли». Осуществленіе такого идеала возможно только въ «демократіи» ибо только въ ней жизнь людей устроится по «общему соглашенію» и, слѣдовательно, «согласно велѣнію одного только разума». Но возможно ли такое общество,—общество, въ которомъ разумъ или познаніе (*Ratio sive cognitio adaequata*) побѣдитъ всѣ остальные страсти и самъ станетъ высшимъ возбужденіемъ, господствующей страстью (*affectus constantissimus*)? Спиноза долго и тщетно искалъ въ окружающей общественной средѣ той силы, которая могла бы осуществить эту идею, не нашелъ ея—и сдѣлалъ безотрадный выводъ: «убѣжденіе, что толпу можно побудить жить согласно велѣніямъ разума—это мечта поэтовъ о золотомъ вѣкѣ или чистѣйшая сказка». Ученіе Маркса разрѣшило задачу, которая была источникомъ величайшей душевной драмы, пережитой основоположникомъ новаго матеріализма и до сихъ поръ незамѣченной критиками. Ученіе Маркса показало, что осуществленіе «мечты поэтовъ» не только возможно—оно неизбѣжно; свободная необходимость человеческого познанія есть требованіе самой вынужденной необходимости человеческого бытія<sup>1)</sup>. «Толпа», которая во времена Спинозы обнаруживала только «косность», «грубость», «преданность суевѣрію и его жрецамъ», въ наше время перестаетъ быть «толпой» и выступаетъ наследницей высшихъ культурныхъ цѣнностей человѣчества. Выступая подъ знаменемъ научнаго социализма, она пользуется уже, какъ орудіемъ, той автономной научной мыслью, торжество которой является конечной цѣлью ея стремленій. Идея научнаго метода становится идеей четвертаго сословія. И если Энгельсъ былъ правъ, утверждая, что человѣчество приближается къ скачку изъ царства необходимости въ царство свободы, то онъ могъ бы добавить, что этотъ скачокъ будетъ совершенъ только тѣми, для кого необходимостью стала уже свободой въ мірѣ идей и желаетъ стать ею въ мірѣ дѣйствительности.

Предыдущее изложеніе, конечно, не ставило своей цѣлью сдѣлать какое-нибудь неожиданное для читателя «открытіе» въ матеріалистическомъ методѣ: единственная задача, которую преслѣ-

<sup>1)</sup> Сравни. В. de Spinoza opp. V.—Vlot, de intellemend. I<sup>3</sup>, p. 6. Tr. Th.—Pol. II, p. 296. Eth. p. V prop. XX, Sch. Tr. Pol. I § 5. Сравни. Engels Anti-Dühr. 305 f. Marx Kapit. III<sup>3</sup> 355.—Отмѣтимъ мимоходомъ, что сужденія Каутскаго по этому вопросу (въ его извѣстной «Этикѣ» и т. д.) носятъ сильнѣйшій отпечатокъ неокантіанства и имѣютъ значительное сходство съ воззрѣніями марксистаобразнаго эклектика Max'a Adler'a, который, развивая аналогичныя мысли, доходитъ до отождествленія ученія Маркса о критеріи истины съ кантовскимъ приматомъ практическаго разума (Marx. St., B. I).

довалъ авторъ,—обратить вниманіе читателя на ту сторону материалистическаго метода, который, къ сожалѣнію, слишкомъ часто остается въ тѣни. Но читатель, конечно, въ правѣ спросить: какъ объяснить это обстоятельство? Какимъ образомъ представители ученія, которое призвано утвердить и обосновать свободную необходимость человѣческаго мышленія и творчества, до сихъ поръ большею частью односторонне подчеркивали только его вынужденную необходимость? Это, конечно, противорѣчіе, но это не внутреннее логическое противорѣчіе теоріи научнаго социализма: это преходящее психологическое противорѣчіе ея историческаго обоснованія. Было бы, конечно, любопытно прослѣдить, какъ преодолевается это психологическое противорѣчіе въ научномъ творчествѣ Плеханова, одного изъ главнѣйшихъ современныхъ теоретиковъ идеи четвертаго сословія. Но эта задача вывела бы насъ за предѣлы нашей темы—изъ области методологіи въ область исторіи. Духъ исторіи—«духъ ироническій», и не даромъ Платонъ воплотилъ его въ Эросъ—«волшебникъ, отравитель и софистъ». Въ ироніи этого софиста надъ идеей четвертаго сословія заключается, быть можетъ, одно изъ величайшихъ противорѣчій, которое знаетъ богатая противорѣчіями исторія человѣческой мысли.

Ив. Боричевскій.